



Алексей Кукушкин

Там, где
гну́тся дубы - 1

Алексей Кукушкин

Там, где гнутся дубы - 1

Серия «Там где гнутся дубы», книга 1

<https://litres.ru/73806604>

SelfPub; 2026

Аннотация

Декабрь 1944 года. Европа горит, но Швеция держит нейтралитет, в это время в тело барона Карла Энерота, сына генерала, племянника дипломата, крестника адмирала, вселяется сознание человека из 2035 года, последнего представителя обедневшей ветви древнего рода, который дожил, когда Швеция продала китайцам последние верфи, утратила гордость и забыла, кем была.

Теперь у него есть имя, открывающее любые двери. Семья, где министров называют «дядями», а король знакомый отца. Молодое тело и знание того, что произойдёт в ближайшие девяносто лет. У него есть три недели до той даты, когда настоящий Карл погибнет в подстроенной аварии, у него есть связи, деньги и стальной характер, который больше не хочет наблюдать за умиранием своей родины, но история сопротивляется. Враги, старые и новые, уже точат ножи. Как далеко он готов зайти, чтобы его новая страна не повторила судьбу той, что осталась в будущем? Дубы гнутся,

но не ломаются. Швеция согнулась под тяжестью войны, пришло время выпрямиться.

Содержание

Последний из Энеротов	5
Двадцать четыре свечи	27
День после	57
Понедельник день тяжелый	70
На учения	89
Конец ознакомительного фрагмента.	102

Алексей Кукушкин

Там, где гнутся дубы - 1

Из шведского королевского гимна «Där ekorna böjer sig — reser de sig igen.» («Где дубы гнутся, они снова выпрямляются.»)

лишь для того, чтобы с новой силой устремиться к небу. Ветры истории ломают слабых, но те, кто помнит корни, встают, как дубы на скалах Скандинавии. Швеция согнулась под тенью войны, но не сломалась. Герой из будущего знает: если не выпрямиться сейчас, страна потеряет себя навсегда. Ибо даже самые крепкие стволы гнутся, но не ломаются.

Последний из Энеротов

Он проснулся, как всегда, за десять минут до будильника. Семь часов утра, двадцать третье сентября, и за окнами его квартиры на Эстермальме осенний Стокгольм встречал новый день тяжелым свинцовым небом. Густав Энерот сел на кровати, поставил ноги на паркет и замер, прислушиваясь к утренней симфонии города, который он любил с той болезненной, почти невыносимой страстью, какая доступна лишь тем, кто видит, как любимое умирает.

За сорок пять лет, прожитых в этом доме, он выучил каж-

дый звук. Раньше это был ритмичный гул автобусов марки **Scania**, тяжелый и надежный, как удар молота по наковальне. Теперь же за окном раздавался сиплый кашель дешевых дизелей турецких перевозчиков и назойливый скутерный стрекот курьеров, развозивших еду, которую люди больше не умели готовить сами. Густав поморщился, подошел к окну и отдернул тяжелую штору.

Стокгольм за сорок пять лет изменился до неузнаваемости. Там, где раньше стояли строгие линии функционалистской архитектуры — гордость шведского модерна, теперь торчали безликие стеклянные коробки с китайскими шильдиками на фасадах. Остров Кунгсхольмен, некогда бывший средоточием шведской бюрократической мощи, превратился в интернациональный муравейник, где шведский язык звучал реже, чем сомалийский и арабский. Густав знал, что к 2035 году в Стокгольме родилось больше детей с иностранными именами, чем с традиционными шведскими. Это были не просто цифры из отчета статистического управления, которые он заказывал каждый квартал. Это было лицо его страны, и оно больше не было его.

Он медленно оделся. Костюм старый, но идеально сшитый, от стокгольмского портного, который умер пять лет назад, так и не передав никому свое мастерство. Галстук темно-синий, с золотым тризубцем, эмблемой семьи Васа, которую Густав коллекционировал с молодости. Брошь в виде трёх корон на лацкане подарок прадеда, который носил её

на церемонии открытия Олимпиады 1912 года. Он был ходячим музеем шведской истории, и в этом, возможно, крылась главная причина его одиночества.

Спускаясь по лестнице, так как лифт сломался месяц назад, и управляющая компания, принадлежавшая датскому фонду, не спешила его чинить, Густав перебирал в голове события последних лет. Volvo. Это слово всегда вызывало у него физическую боль. В 2010-м они продали легковое подразделение китайцам. Густав тогда был молодым, всего сорок пять, и он метал гром и молнии на заседании совета директоров, где большинство проголосовало «за».

«Вы отдаете душу Швеции», — кричал он, стуча кулаком по полированному дубу. Ему ответили сухими цифрами: рынок, эффективность, акционерная стоимость. Через пятнадцать лет китайцы выпускали электромобили под маркой Volvo, в которых не осталось ни одной шведской детали, кроме названия, это было хуже, чем поражение, это было забвение.

А Saab... Saab он оплакивал до сих пор. Последний настоящий шведский автомобиль, рожденный из авиационного духа, из упрямства инженеров, которые не умели делать компромиссы. Когда в 2011-м завод в Тролльхеттане закрылся окончательно, Густав приехал туда и стоял у проходной, глядя, как рабочие, мужчины в замасленных куртках, чьи деды строили истребители для нейтральной Швеции расходились по домам. Один из них, седой, с лицом, изрезанным морщи-

нами, сказал ему тогда:

«Мы больше ничего не создаём, господин Энерот. Мы только перепродаём».

Эта фраза стала для него пророческой.

Он сел в свой автомобиль. Единственный Saab 9-5, 2009 года выпуска, который он берег как зеницу ока. Чёрный, с идеально работающим турбомотором, купленным в последний год производства шведской сборки. Каждый день Густав водил его сам, хотя его состояние позволяло нанять водителя. Ему нужно было чувствовать руль, слышать двигатель, ощущать, что Швеция ещё способна создавать совершенные механизмы. Он включил зажигание, и мотор отозвался ровным, мощным урчанием, похожим на рык сытого зверя.

«Хотя бы ты ещё жива», — прошептал он, вырывая на набережную.

Штаб-квартира его корпорации **Eneroth Industrial Group** располагалась в здании, которое Густав отвоевал у датских инвесторов в 2018 году. Это был шедевр архитектора Эстберга, того самого, кто строил ратушу. Густав восстановил оригинальную кирпичную кладку, медные кровли и дубовые панели в зале заседаний. Он хотел, чтобы сотрудники каждый день проходили мимо истории, чтобы чувствовали тяжесть и величие того, что было создано до них. Он знал, что многие считали его чудаком, старомодным реакционером, который пытается повернуть время вспять, ему было плевать.

Кабинет Густава был не просто рабочим местом, это был храм. На стенах висели портреты Карла XII работы Крафта, копия картины «Переход через Бельты» и старые карты Балтийского моря, где Швеция простиралась от Штеттина до Выборга. Книжный шкаф ломился от фолиантов: «История шведского могущества», мемуары Леннарта Ульстена, технические чертежи истребителя JAS 39 Gripen с автографом главного конструктора. Главным же экспонатом был бюст Карла XII на письменном столе, работа неизвестного скульптора XVIII века, которую Густав выкупил на аукционе в Лондоне за сумму, равную годовому бюджету небольшого муниципалитета.

Король-воин. Его кумир. Человек, который в восемнадцать лет принял страну, окруженную врагами, и на восемнадцать лет сделал её властелином Балтики. Густав часто смотрел на этот бюст, когда принимал трудные решения. В отличие от большинства современных историков, которые видели в Карле XII лишь безумного авантюриста, погубившего империю, Густав Энерот видел другое. Он видел принцип, волю, отказ идти на компромисс с посредственностью. Карл проиграл Полтаву, но он не проиграл себя, а Швеция сегодня проиграла себя без единого выстрела, сдаваясь по частям на заседаниях совета директоров и в избирательных бюллетенях.

Сегодняшнее заседание должно было стать особенным. На повестке дня стоял вопрос о продаже последнего крупно-

го актива группы верфей в Карлскруне, строивших подводные лодки класса Gotland. Покупателем выступал консорциум, за которым стояли американцы. Они хотели получить технологии воздухонезависимых энергетических установок, которые шведы разработали ещё в девяностых и которые до сих пор оставались лучшими в мире. Густав знал, что совет директоров проголосует «за». Цифры были слишком убедительны. Но он также знал, что после продажи верфей Швеция перестанет быть страной, способной строить боевые корабли. Это был символический рубеж, последняя черта.

— God morgon, Густав, — в кабинет вошел его заместитель, Юнас Сёдерберг, молодой человек в идеально сидящем итальянском костюме, выпускник Лондонской школы экономики. Юнас был из новой породы шведских управленцев: безупречный английский, никакого акцента, никаких эмоций. Он смотрел на бизнес как на глобальную шахматную доску, где понятия «национальное» были не более чем сентиментальностью.

— God morgon, Юнас, — ответил Густав, не поднимая головы от документов. — Ты уже подготовил аргументы для сегодняшнего голосования?

— Они готовы уже месяц, — улыбнулся Юнас, садясь напротив. — Американцы предлагают цену, от которой невозможно отказаться. Мы сможем реинвестировать капитал в зелёную энергетику, в искусственный интеллект. Это будущее, Густав, а подводные лодки... давайте будем реалистами.

Против кого мы собираемся их использовать? Против России? У них тысяча ядерных боеголовок. Против НАТО? Мы теперь сами в НАТО. Эти лодки дорогая игрушка, напоминание о временах, которых больше нет.

Густав медленно поднял голову и посмотрел на Юнаса. В его взгляде не было злобы. Была глубокая, вековая усталость человека, который слишком долго сражался с ветряными мельницами.

— Ты знаешь, Юнас, что мой прадед был капитаном броненосца Sverige? — тихо спросил он. — В 1915 году, когда немецкие подводные лодки топили наши торговые суда, он выходил в море без приказа короля, потому что считал, что долг офицера защищать шведских моряков. Его судили, но оправдали. Потому что судьи знали, что пока есть такие люди, Швеция существует.

— Это была другая эпоха, — мягко сказал Юнас.

— Да, — кивнул Густав. — Эпоха, когда у нас были броненосцы, самолёты собственной конструкции, автомобили, которые проектировали и собирали шведы, и нейтралитет, который держался не на бумажках, а на готовности защищать каждый метр своей земли. А теперь? Volvo китайская. Saab мертва. Ericsson наполовину принадлежит американцам. Армия сокращена до размеров полицейского корпуса. Мы вступили в НАТО, хотя девяносто лет нейтралитета сделали нас богатой и безопасной страной. Зачем мы это сделали? Из страха. Мы испугались, когда русские стали громко

топать ногами, и побежали под чужое крыло, как нашкодившие мальчишки.

Он встал, подошел к окну и посмотрел на Стокгольм, раскинувшийся внизу.

— А мигранты? — продолжил он, и в голосе его впервые прозвучала горечь. — Я не против иммиграции как таковой, моя страна всегда была открытой. Но мы приняли больше, чем могли интегрировать. Мы пустили людей, которые не хотят знать наших законов, нашей истории, нашего языка. Они создают свои анклавов, свои правила, свою справедливость. В некоторых районах Стокгольма полиция не появляется без бронетранспортера. В двадцать первом веке! В Швеции!

Юнас молчал, он слышал эти речи сотни раз.

— И теперь мы продаем верфи, — Густав повернулся к бюсту Карла XII. — Знаешь, что сказал король своим солдатам перед высадкой в Зеландии?

«Шведы никогда не отступают. Они либо побеждают, либо умирают».

Мы не умираем, Юнас, мы просто сдаёмся, и это хуже, чем смерть.

Он вернулся к столу и сел, вдруг почувствовав всю тяжесть своих семидесяти лет. Сердце неприятно кольнуло, и он машинально потянулся к нагрудному карману, где лежали таблетки.

— Сегодня я проголосую против, — сказал он твердо. — Я проголосую против, даже если остальные девять членов

совета будут «за». Я хочу, чтобы в протоколе осталась запись: Густав Энерот был против продажи последнего оплота шведского кораблестроения. Пусть через пятьдесят лет, когда наши внуки будут читать историю этого периода, они знали, что был хотя бы один человек, который пытался остановить этот бессмысленный бег.

Он замолчал и вдруг улыбнулся, впервые за этот день.

— А знаешь, что я сделал на прошлой неделе? Я купил небольшой домик на острове Рагнё. Там, в архипелаге. Три комнаты, камин и вид на Балтику. Ни электричества, ни интернета. Только море, сосны и камни, которые помнят викингов. Я думаю, что проведу там остаток дней. Буду читать книги, смотреть на закаты и вспоминать, какой была Швеция, когда мы ещё умели строить, воевать и не бояться.

Юнас открыл было рот, чтобы что-то сказать, но Густав его остановил жестом.

— Не надо меня отговаривать. Я передаю дела, ты станешь новым CEO. Ты молодой, умный, ты вступишь в эту новую глобальную Швецию. Может быть, ты даже будешь прав, а я... я просто хочу умереть в стране, которую помню, а не в той, которую она стала.

После заседания, где верфи были проданы девятью головами против одного, Густав не поехал домой. Он направился в сторону Юргордена, к музею Васа. Он любил этот музей с того самого дня, как его открыли в 1990-м. Стоять перед кораблём, который пролежал на дне триста тридцать лет

и поднялся из пучины почти нетронутым. «Васа» затонул в 1628 году, через двадцать минут после выхода в плавание. Корабль построили неправильно, слишком высокий, слишком тяжёлый для своей осадки. Но какой это был корабль! Пятьсот скульптур, пушечные порты на двух палубах, львы, герои, античные боги, всё это великолепие, которое шведские мастера вырезали из дуба, чтобы прославить величие своей страны.

Густав стоял у стеклянной стены, глядя на корму, украшенную резными львами. Рядом с ним остановилась группа школьников, мальчики и девочки лет двенадцати. Экскурсовод говорила на английском, хотя все дети были шведами.

«Это корабль, построенный при короле Густаве Адольфе, который был одним из великих полководцев Тридцатилетней войны», — объясняла она.

Густав слушал и чувствовал, как внутри нарастает глухое раздражение. «Великих полководцев». Она говорила о Густаве Адольфе, Льве Севера, создателе современной армии, человеке, который перевернул военное искусство Европы, так, словно это был какой-то забавный исторический курьёз, не имеющий отношения к этим детям.

Он хотел подойти и сказать: «Это ваш корабль. Это ваша история. Эти львы и эти пушки созданы вашими предками, которые верили, что Швеция — великая держава, и вы тоже должны в это верить».

Но он промолчал. Он понимал, что для этих детей Шве-

ция это не страна викингов и королей-воителей, не страна Нобеля и Линнея, не страна, которая дала миру спички, подшипники и телефонную связь. Для них Швеция это страна с высокими налогами, хорошей социальной защитой и вечными проблемами с мигрантами. Они не знали гордости, им не дали этого чувства.

Вернувшись домой, Густав не мог уснуть. Он сидел в своём кабинете, перебирал старые фотографии. Вот его дед, в форме лейтенанта береговой артиллерии, 1939 год. Вот отец молодой инженер на заводе Saab в Линчёпинге, счастливый, с чертежами в руках. Вот он сам мальчишка, который стоит рядом с истребителем J-29 Tunnan на авиашоу в Мальмслетте. Ему тогда было десять, и он точно знал, что будет строить шведские самолёты. Он и строил. Тридцать лет он возглавлял авиастроительное подразделение своей группы, пока в 2015-м не пришлось продать и его. Нерентабельно, говорили банкиры. Рынок слишком мал, говорили политики. Европейская интеграция требует унификации, говорили в Брюсселе.

Он взял бюст Карла XII и поставил его перед собой. Латунный король в парике, с решительным лицом, смотрел на него холодными металлическими глазами.

— Ты проиграл, — сказал ему Густав вслух. — Ты потерял империю, ты погиб в окопе, и твою страну полтора века грабили соседи. Но ты не проиграл себя, а я проиграл. Я видел, как моя страна исчезает по кусочкам, и не смог ничего

сделать.

Было три часа ночи, когда зазвонил телефон. Густав хотел сбросить вызов, но номер был незнакомый, с кодом Уппсалы. Он взял трубку.

— Господин Энерот? — голос был молодой, взволнованный. — Меня зовут Эрик Лундвалль. Я аспирант Уппсальского университета, кафедра экспериментальной физики. Я знаю, что сейчас очень поздно, но... у нас есть проект, я думаю, он может вас заинтересовать.

— Что за проект? — устало спросил Густав.

— Мы работаем над моделированием квантовых переходов в макроскопических системах. Теоретически... мы нашли способ переноса сознания во временные континуумы. Это звучит безумно, я знаю, но у нас есть математическая модель. Нам нужен инвестор, чтобы построить прототип капсулы, и... — голос аспиранта дрогнул, — мы искали человека, который понимает, что иногда нужно вернуться назад, чтобы исправить то, что пошло не так.

Густав молчал целую минуту. Он смотрел на бюст Карла XII, на портреты предков, на карты старой Швеции, на чертежи «Сааба», которые висели над камином. В голове его крутились слова: «перенос сознания», «временные континуумы», «вернуться назад». Это было безумие, это было оскорблением здравого смысла. Но в груди, там, где последние годы жила только усталость, вдруг что-то шевельнулось, что-то, что он считал давно умершим, надежда.

— Когда вы можете принять меня в своей лаборатории?

— спросил он.

Лаборатория в Уппсале оказалась подвальным помещением в старом здании физического факультета, где пахло озоном, пылью и чем-то ещё, напоминавшим запах старого телевизора, только что выключенного. Эрик Лундваль, молодой человек с горящими глазами и вечно взлохмаченными волосами, провел Густава в центр зала, где стояла конструкция, напоминавшая саркофаг из стекла и полированной стали.

— Мы называем это «Ретранслятор», — сказал Эрик, с гордостью поглаживая гладкую поверхность. — Принцип основан на теории квантовой запутанности и... ну, вы не физик, господин Энерот. Суть в том, что капсула считывает нейронную структуру сознания и... переписывает её в другую точку пространственно-временного континуума. Мы уже провели успешные эксперименты на мышах. Мы переносили сознание мыши в её же собственное тело, но на три дня назад. Мышь помнила, где находится сыр, который она съела три дня спустя.

Густав нахмурился.

— И что случилось с той мышью, в тело которой вселили сознание из будущего?

— Она... — Эрик замялся, — она перезаписалась, исходное сознание было подавлено. Мышь не пострадала, но её личность изменилась. Она стала умнее, осторожнее. Она

знала, где ждать опасность.

— Вы предлагаете мне заплатить за то, чтобы я вселился в своё же молодое тело? — Густав усмехнулся. — Я уже старик, господин Лундвалль, моё молодое тело давно истлело.

— Нет, — Эрик покачал головой. — Мы не можем отправить вас в ваше собственное прошлое. Это слишком сложно с точки зрения временной когерентности. Но мы можем отправить ваше сознание в другую точку времени, в тело человека, который умирает или находится в коме, и чьё собственное сознание готово покинуть оболочку, у нас есть... возможности.

Он достал из папки старую фотографию. Молодой человек в военной форме, но не солдатской, офицерской, с золотыми аксельбантами и монограммой на воротнике. Красивое, почти мальчишеское лицо, светлые волосы, серые глаза с лёгкой надменностью.

— Барон Карл Энерот, — сказал Эрик. — Ваша фамилия, господин Энерот, это не случайно. Мы специально искали носителя вашей крови. Барон Карл ваш дальний родственник, из младшей ветви рода Энеротов, которая породнилась с аристократическими домами Швеции в начале века. Ему двадцать пять лет. Декабрь 1944 года. Он сын барона Хенрика Энерота, генерал-лейтенанта береговой артиллерии, члена Военного совета, личного друга короля Густава V. Его мать урожденная графиня Линде, сестра нынешнего графа Линде, который занимает пост в Министерстве ино-

странных дел. Его крестный вице-адмирал Клас Ларссон, командующий Балтийским флотом. Его дяди и «друзья дома» это министр обороны, министр иностранных дел, управляющий Риксбанком и половина генералитета.

Густав смотрел на фотографию, и в голове у него кружились обрывки семейных историй, которые он знал с детства. Фамилия Энерот была старой шведской фамилией, восходящей к XVII веку. Его собственная ветвь обеднела в XIX веке и ушла в инженеры и промышленники. Но были и другие Энероты — аристократы, военные, дипломаты, те, кто оставался в высшем свете, кто водил дружбу с королями и генералами. Он всегда знал о них, но как о далёкой, почти легендарной родне. Теперь эта родня становилась его плотью и кровью.

— Барон Карл... — медленно произнес он. — Что с ним случилось?

— Он погибнет через три недели, — тихо сказал Эрик. — Автомобильная авария на дороге между Стокгольмом и Уппсалой. Официальная версия гололёд, потеря управления. Но мы изучили архивные документы. Его машина была подрезана грузовиком с дипломатическими номерами. Кто-то не хотел, чтобы молодой барон занял место, которое ему готовили. Он слишком много знал. Слишком многим мешал.

Густав поднял глаза на Эрика.

— Кто?

— Мы не знаем точно. Немецкая агентура? Советская?

Свои? В 1945-м Швеция была кипящим котлом. Нейтралитет держался на волоске, и многие хотели его нарушить. Барон Карл был наследником. Его отец, генерал-лейтенант Хенрик Энерот, входил в так называемый «круг финляндцев», тех, кто хотел помочь Финляндии против СССР. После перемирия 1944-го эти планы рухнули, но связи остались. Карл был посвящен во многие секреты. Он должен был стать адъютантом принца Густава Адольфа, наследника престола. Если бы он выжил, он бы вошел в ближайшее окружение короля. Его ждало большое будущее.

Густав провел пальцем по фотографии. Молодой барон смотрел на него с той уверенной, почти вызывающей усмешкой, которая бывает у людей, выросших в любви и достатке, привыкших, что мир принадлежит им.

— И вы хотите отправить меня... в него? — голос Густава сел.

— Мы можем попытаться, — кивнул Эрик. — Если вы согласитесь финансировать завершение проекта, но риск высок. Мы не можем гарантировать успех. Возможно, ваше сознание просто рассеется, не найдя точки входа. Возможно, вы сойдёте с ума от временного шока. Но... — он посмотрел Густаву прямо в глаза, вы же всё равно уже ничего не ждёте от этой жизни? Простите за прямоту.

Густав медленно кивнул. Он снова посмотрел на фотографию молодого барона, на его самоуверенное лицо. Карл Энерот был полной противоположностью ему самому. Гу-

став был сыном инженера, поднявшимся благодаря труду и уму. Карл был аристократом по рождению, получившим связи и положение в наследство. Но у них было одно общее, что они оба любили Швецию. Только Карл любил её такой, какой она была в 1945-м — великой, нейтральной, сильной, окруженной врагами, но не сломленной, а Густав любил её такой, какой она могла бы стать, если бы не ошибки, совершённые в те самые годы, куда он собирался отправиться.

— Я сделаю это, — сказал он. — Но хочу знать одну вещь.

— Какую?

— Генерал-лейтенант Хенрик Энерот — он действительно мой родственник? По крови?

Эрик улыбнулся и достал из папки генеалогическое древо, испещренное старинными фамилиями, датами рождения и смерти, брачными союзами и наследованиями. Он провел пальцем по ветке, уходящей в глубину XVIII века, и показал точку, где сходились линии.

— Вы и барон Карл — четвероюродные братья. Ваш общий предок барон Эрик Энерот, полковник конницы Карла XII, участник Полтавской битвы. После поражения его ветвь обеднела и ушла в бюргеры. Его младший брат сохранил титул и земли, но кровь одна. Энероты не прерывались.

Густав смотрел на древо, и вдруг всё встало на свои места. Его одержимость Карлом XII, его любовь к военной истории, его тоска по величию, это было не просто увлечение, это была кровь. Двести восемьдесят лет дремавшая, забытая, но не

исчезнувшая. Ген полководца, который заснул в инженерах и промышленниках, чтобы проснуться в нем, Густаве Энероте, последнем из тех, кто помнил.

— Когда мы начнем? — спросил он.

Через месяц, в ноябре 2035 года, Густав Энерот лёг в стеклянный саркофаг «Ретранслятора». Эрик Лундвалль и его команда провели последние проверки. Всё было готово.

— Вы помните, что вам нужно сделать? — спросил Эрик, наклоняясь над капсулой.

— Я должен стать бароном Карлом Энеротом, — ответил Густав. — Вжиться в его роль, не вызвать подозрений. Использовать его связи, его имя, его семью. Его отец генерал-лейтенант, друг короля. Его дядя граф Линде, дипломат. Его крестный адмирал. Министры называют его «мальчик Карл» и похлопывают по плечу, у него есть доступ туда, куда я, инженер из обедневшей ветви, никогда бы не попал.

— Вы знаете историю, — кивнул Эрик. — Вы знаете, где и когда будут совершены ошибки, у вас есть шанс исправить их. Но помните, что вы не можете изменить всё. История сопротивляется, даже маленькое изменение может иметь непредсказуемые последствия.

— Я знаю, — Густав закрыл глаза. — Я не собираюсь менять всё. Я собираюсь сделать только одно, я не дам Швеции сдаться. Не дам продать душу за комфорт. Я сделаю так, чтобы через девяносто лет, когда придёт время испытаний, моя страна стояла на своих ногах, а не ползала на коленях перед

чужими. У меня теперь есть имя, семья, связи. У меня есть доступ к самым высоким кабинетам. Я буду говорить с министрами не как проситель, а как свой. Потому что для них я сын их друга, племянник, крестник. Я буду сидеть с ними за одним столом, охотиться в одних лесах, пить вино из одних погребов, и я буду менять их решения, пока они не заметят.

— В добрый путь, барон Карл, — сказал Эрик и нажал кнопку.

Сначала была темнота. Потом вспышка, такая яркая, что Густав зажмурился даже сквозь закрытые веки. Затем звук. Резкий, оглушающий гул, похожий на вой сирены, смешанный с треском разрываемой материи. Он почувствовал, как его старое тело, семидесятилетнее тело рассыпается на частицы, на волны, на чистую информацию, которая устремляется сквозь время, сквозь десятилетия, сквозь войны и миры, назад, к той точке, где история сделала неверный поворот.

Боль была невыносимой. Она длилась вечность, а потом тишина, холод, запах соснового дыма, смешанный с ароматом дорогого одеколона и еще чем-то сладковатым, едва уловимым запахом, который Густав не мог определить, но который заставил его сердце биться быстрее.

Густав открыл глаза.

Он лежал на кровати под тяжелым балдахинном, в комнате, обставленной старинной дубовой мебелью. На стенах висели портреты в золоченых рамах, охотничьи трофеи, старинное

оружие. За высокими окнами темнота, и только редкие огни Стокгольма мерцают вдалеке, но это не тот Стокгольм, который он знал. Неоновые вывески исчезли. Вместо них мягкий свет редких фонарей и темные силуэты старых зданий, которые в его время давно снесли или перестроили. Воздух был другим, холоднее, чище, без запаха выхлопных газов и городской суеты.

Он прислушался к себе. Тело было другим. Лёгким, упругим, сильным. Двадцать четыре года. Мышцы, не тронутые старостью, сердце, бьющееся ровно и мощно, кожа гладкая, без старческих пигментных пятен. Он медленно поднял молодую руку с длинными пальцами аристократа, на безымянном пальце массивное золотое кольцо с фамильным гербом: три дубовых листа и корона.

Он медленно поднялся, чувствуя непривычную легкость в теле, подошёл к зеркалу в тяжелой дубовой раме и увидел лицо, которое знал по фотографии. Светлые волосы, падающие на лоб, высокий лоб, серые глаза с лёгкой надменностью, волевой подбородок. Красивый, самоуверенный молодой человек. Барон Карл Энерот. Сын генерала. Племянник дипломата. Крестник адмирала. Тот, кто должен был войти в ближайший круг королевской семьи. Тот, кто погибнет через три недели, если ничего не изменить.

Густав Энерот, человек, который видел упадок своей страны, умер. Или, может быть, просто уснул навсегда. Потому что сейчас, в холодное утро января 1945 года, в Стокгольме

проснулся другой человек. Тот, кто помнил всё, что должно случиться. Тот, кто знал, какие ошибки приведут Швецию к утрате себя. Тот, кто поклялся умирающему Карлу XII и исчезающей стране своих предков, что больше ни одна верфь не будет продана, ни один самолёт не будет списан, ни один швед не будет стыдиться того, что он швед.

Он подошёл к окну, распахнул его навстречу январскому морозу и глубоко вдохнул холодный воздух, чувствуя, как легкие наполняются силой молодости. Стокгольм спал, но скоро он проснётся, и этот раз всё будет иначе.

Он вернулся к кровати, взял с тумбочки серебряный портсигар с вензелем «С.Е.» и открыл его. Внутри лежали визитные карточки. Он перебрал их:

«Генерал-лейтенант Хенрик Энерот, Военный совет», «Граф Линде, Министерство иностранных дел», «Вице-адмирал Клас Ларссон, Командующий Балтийским флотом», «Улоф Мёрнер, Министр обороны», «Гуннар Мюрдаль, Министр торговли». Семья, связи, власть, всё это теперь было его.

Он закрыл портсигар и улыбнулся. Впервые за долгие годы это была не усталая, горькая улыбка старого человека, а уверенная, хищная усмешка молодого барона, который знает, что мир принадлежит тем, кто берёт.

— Ну что ж, дядя Улоф, дядя Гуннар, крестный Клас, — тихо сказал он, глядя на своё отражение в темном стекле окна. — Поговорим о будущем Швеции. Только на этот раз я

буду не наблюдателем, я буду участником, и поверьте мне, я знаю, что говорю. Ведь я уже видел, к чему приведут ваши компромиссы, и я не позволю этому случиться, никогда.

Двадцать четыре свечи

Шестнадцатое декабря 1944 года. Я просыпаюсь от тихого, но настойчивого стука в дверь. Мое тело это тело двадцатичетырехлетнего мужчины, и оно слушается меня с пугающей легкостью. Нет привычной боли в пояснице, нет тяжести в ногах, нет того утреннего хруста в суставах, который последние десять лет моей прошлой жизни был моим постоянным спутником. Я сажусь на кровати, и мышцы живота сокращаются без малейшего усилия. Двадцать четыре года, я снова молод, ура!

— Войдите, — говорю я, и мой голос звучит ниже и тверже, чем я ожидал.

Горничная, пожилая женщина в строгом черном платье и белом накрахмаленном переднике, входит с подносом. Она служит в этом доме с тех пор, как я, то есть настоящий Карл, был ребенком. Я вижу это по тому, как легко она движется в этих комнатах, как знает, куда поставить поднос, чтобы утреннее солнце не светило в глаза.

— С днём рождения, барон, — говорит она, ставя поднос на прикроватный столик. — Господин генерал велели передать, чтобы вы ровно к десяти спустились в гостиную. Гости начнут съезжаться к полудню.

— Хорошо, — отвечаю я, и это короткое слово звучит естественно. Я долго готовился к этой роли, но оказалось,

что язык, это не только слова, но и интонации, дыхание, паузы. Мое тело помнит их лучше, чем мой разум.

Она выходит, и я остаюсь один. Смотрю на поднос, овсяная каша с ложечкой варенья из брусники, два тонких ломтика хлеба с маслом, маленькая чашечка черного кофе, стакан молока, война, карточки. Даже в доме генерала нет излишеств. Я помню, как в моей прошлой жизни на дни рождения я заказывал еду из ресторанов, которые доставляли её в пластиковых контейнерах. Я ел в одиночестве, перед телевизором, и вкус еды не имел значения. Теперь я ем овсяную кашу и чувствую каждый глоток молока. Может быть, это и есть молодость, способность чувствовать вкус жизни.

Я медленно одеваюсь. На стуле висит темно-синий сюртук с серебряными пуговицами. Я провожу пальцами по ткани, шерсть, тонкая, дорогая, но уже не новая. Вещи в этом доме берегут. В моей прошлой жизни я покупал костюмы в магазинах на Биргер Ярлсгатан, платил за них десятки тысяч крон, а потом они висели в шкафу, потому что мне некуда было в них выходить. Этот сюртук носил настоящий Карл, и я чувствую себя самозванцем, надевая его. Но когда я смотрю в зеркало, я вижу не самозванца. Я вижу барона Карла Энерота. Светлые волосы, серые глаза, высокий лоб. Красивый, самоуверенный молодой человек. Кровь, титул, связи. Всё это теперь мое.

Ровно в десять я спускаюсь вниз. Гостиная на первом этаже натоплена, изразцовая печь гудит сухим жаром. У камина

стоит мой отец — генерал-лейтенант Хенрик Энерот. Он высок, сед, подтянут. Даже в домашнем сюртуке он сохраняет выправку, заставляющую младших офицеров вытягиваться во фронт. Я смотрю на него и чувствую странное волнение. В моей прошлой жизни я никогда не знал своего отца. Он умер, когда мне было пять лет, и я помню только его запах, табак и кожа, и то, как его руки держали меня на плечах. Теперь у меня есть отец, живой, сильный, настоящий.

— Выглядишь хорошо, Карл, — говорит он, оглядывая меня с головы до ног. — Намного лучше, чем вчера.

— Task, far, — отвечаю я, протягивая руку для рукопожатия. Объятий в этом доме не водится. Я знаю это из рассказов, из книг, но когда его ладонь сжимает мою, я чувствую тепло. Мужское тепло, которое не нуждается в словах.

— Мать скоро выйдет, — говорит он, закуривая тонкую сигару. — Она хотела, чтобы мы обменялись подарками до прихода гостей.

Мать входит бесшумно, как всегда. Темно-синее платье с высоким воротником, фамильная брошь, **три короны** в бриллиантах. Она подходит ко мне, окидывает долгим взглядом и вдруг поправляет мой галстук, хотя он завязан безупречно.

— Ты стал другим, Карл, — говорит она тихо. — Спокойнее и собраннее.

— Мне просто исполнилось двадцать четыре, — улыбаюсь я, но она качает головой.

— Дело не в возрасте. Дело в глазах, раньше в них был мальчишка. Теперь... теперь я вижу там мужчину, который многое видел.

Она смотрит на меня так, словно пытается прочесть то, что я прячу. Я выдерживаю её взгляд. Я научился этому в своей прошлой жизни, когда мне приходилось вести переговоры с банкирами и политиками. Не отводить глаза, не суетиться, не выдавать себя, но с ней это труднее. Она моя мать, или, по крайней мере, женщина, которую я должен называть матерью.

Отец вручает мне подарок первым. Тяжелый футляр, обтянутый кожей. Я открываю, а внутри лежит револьвер. Старый, но в идеальном состоянии, с вензелем на рукояти и гравировкой на стволе.

— «Смит-Вессон» образца 1887 года, — говорит отец. — Им пользовался мой отец, а до него его отец. Первый выстрел из этого револьвера был сделан по русской канонерке в 1904-м. Второй по немецкому самолёту в 1940-м. Третий... я надеюсь, что третий никогда не понадобится.

Я беру револьвер. Металл холодный, но в этом холоде чувствуется странное тепло поколений, сжимавших эту рукоять. Я взвешиваю оружие в руке. В моей прошлой жизни я никогда не держал ничего подобного. У меня было охотничье ружье, купленное в магазине, которое я использовал два раза в год, а это история Швеции, сжатая в кусок стали и дерева.

— Я сохраню его, — говорю я, и добавляю то, что насто-

ящий Карл, наверное, не сказал бы:

— И если придёт день, я использую его не для обороны, а для нападения.

Отец поднимает бровь, но ничего не говорит. Только кивает, медленно, задумчиво.

Мать дарит мне часы. Карманный хронометр «Петека Филиппа» в золотом корпусе, с гравировкой на крышке: «1905» и инициалы «К.Э.» Карл Энерот, прадед, тот самый полковник. Я открываю крышку, слушаю тиканье. Часы идут. Восемьдесят лет они идут, переходя от отца к сыну, и никто не знает, что через девяносто лет их купят на аукционе в Лондоне за бесценок, потому что внуки продадут всё, что осталось от рода. Я знаю, я видел это, но сейчас часы в моих руках, и я не позволю этому случиться.

— Это тебе от меня, — говорит мать и протягивает маленький бархатный мешочек.

Внутри лежит золотой крест на тонкой цепочке. Простой, без украшений, такой, какие носили шведские офицеры со времен Густава Адольфа.

— Носи его под рубашкой, — говорит она. — И пусть он напоминает тебе, что мы, шведы, не боимся смерти, мы боимся только недостойной жизни.

Я надеваю крест, прячу его под воротник. Золото холодит кожу, и это напоминает мне, что я жив. Что я снова молод, что у меня есть второй шанс.

Ровно в полдень начинают съезжаться гости. Я стою в го-

стиной рядом с отцом и смотрю, как один за другим входят люди, чьи имена я знал из учебников истории. Вице-адмирал Клас Ларссон мой крестный. Высокий, обветренный, с цепким взглядом. Он стискивает мою руку так, что хрустят кости.

— С днём рождения, мальчик, — гудит он. — Рад, что ты наконец перестал быть сопляком.

Он вручает мне сверток. Я разворачиваю там карта Балтийского моря. Но не обычная. На ней нанесены секретные фарватеры, минные поля, точки базирования советского флота. Информация, которая в 1944-м доступна только избранным.

— Это для тебя, — говорит адмирал, понижая голос. — Если русские полезут, ты должен знать, где они могут ударить, и где мы можем их встретить.

Я смотрю на карту и понимаю, что держу в руках не просто бумагу. Я держу план войны, который шведский флот разрабатывал втайне от правительства. Настоящий Карл, наверное, испугался бы такой ответственности. Но я не настоящий Карл. Я — Густав Энерот, который знает, что русские не полезут в 1945-м, но я также знаю, что через сорок лет угроза вернется, и Швеция будет к ней не готова и я буду готов.

— Таск, крестный, — говорю я, и в моем голосе, кажется, звучит что-то, заставляющее адмирала посмотреть на меня внимательнее.

Следующий — дядя, граф Линде. Министерство иностранных дел. Сухой, педантичный, одет с подчеркнутой простотой. Он окидывает меня быстрым взглядом и произносит:

— Ты вырос, Карл. Надеюсь, голова у тебя выросла вместе с телом.

Его подарок, это книга, первый том мемуаров шведского посла в Берлине, с пометками на полях, сделанными рукой самого графа.

— Прочитай, — говорит он. — Здесь написано, как не нужно вести внешнюю политику. Немцы нас обманывали три года. А мы делали вид, что верим. Запомни: нейтралитет — это не трусость. Но и не слепота.

Я беру книгу, листаю страницы, вижу карандашные пометки. «Ложь», «предательство», «наивность». Дядя не верил немцам. Он знал, но не мог ничего изменить, у него не было власти, а у меня будет.

К часу дня гостиная полна. Министр обороны Улоф Мёрнер старый друг дома, который называет меня «племянником» и похлопывает по плечу.

Управляющий Риксбанком Ивар Рут - человек с лицом хорька и глазами, видящими на пять лет вперед. Полковник Стен Линдерот - начальник разведывательного управления, личность настолько засекреченная, что даже здесь о нем говорят шепотом. Все они «дядья» Карла. Люди, которые двадцать лет решают судьбу Швеции за дубовыми столами ми-

нистерств. Я смотрю на них и понимаю, что через несколько лет многие из них уйдут, и их место займут другие, менее умные, менее волевые, более удобные для глобального мира. Я не хочу, чтобы они уходили. Я хочу, чтобы они остались и сделали Швецию сильной, и я знаю, как это сделать.

Обед начинается ровно в час. Малая столовая, дубовые панели, портреты предков. Белая скатерть, тяжелое серебро, хрусталь, который достают только по большим праздникам. Я сажусь за стол и чувствую, как дрожат руки. Не от волнения, а от осознания. В моей прошлой жизни я обедал в одиночестве. Иногда я накрывал на стол для себя одного, ставил приборы, зажигал свечи, и это было жалкое зрелище, а теперь вокруг меня семья. Живые люди, которые говорят, смеются, спорят. Отец справа. Мать слева. Напротив сидит дядя Улоф, который что-то рассказывает о новых поставках железной руды в Германию.

Генерал поднимает бокал:

— За именинника.

Все пьют, не чокаясь. Шведская традиция, чокаться считается излишней эмоциональностью. Я поднимаю свой бокал, смотрю на мутноватое вино в свете свечей и чувствую, как внутри поднимается странное, почти болезненное чувство. Это счастье? Я не помню, когда в последний раз был счастлив. В моей прошлой жизни счастье ушло вместе с молодостью, а потом и молодость ушла, и осталась только привычка, а теперь я сижу за столом, где решается судьба стра-

ны, и мне двадцать четыре года, и у меня есть отец, мать, крестный, дядя, и я знаю, что никто из них не доживет до 2035-го, но сейчас они живы, и я могу их защитить.

— Карл, ты что-то притих, — замечает дядя. — Обычно ты на своих именинах тосты говорил, девушкам комплименты расточал, а сегодня сидишь, как сыч.

Я поднимаю голову и смотрю ему прямо в глаза.

— Дядя, иногда человек понимает, что жизнь слишком коротка, чтобы тратить её на пустые слова. Особенно когда вокруг столько людей, которые могут научить его чему-то действительно важному.

За столом тишина. Отец смотрит на меня с выражением, которое я не могу прочитать. Адмирал крякает и одобрительно кивает. Министр обороны Мёрнер, который до этого разговаривал с управляющим банком о курсе кроны, вдруг поворачивается ко мне и впервые за вечер обращается ко мне не как к сыну старого друга, а как к равному:

— А что ты думаешь, барон? Вот мы тут спорим, стоит ли нам увеличить производство противотанковых орудий, если русские после войны всё равно будут доминировать на Балтике?

Я медленно кладу вилку. В моей прошлой жизни я был промышленником. Я знал, сколько стоит ствол, сколько времени занимает настройка конвейера, сколько стали нужно для тысячи орудий. Но сейчас я говорю не об этом. Сейчас я говорю о том, что знаю, чего они не знают.

— Дядя Улоф, — говорю я, и мой голос звучит тверже, чем я ожидал, — вопрос не в том, сколько пушек мы сделаем. Вопрос в том, какую Швецию мы хотим оставить после себя. Если мы будем полагаться на чужую защиту, мы перестанем быть хозяевами в своём доме. Если мы будем продавать свои технологии и свои заводы тем, у кого больше денег, мы перестанем быть нацией. Нейтралитет это не позиция наблюдателя, это позиция человека, который настолько уверен в своей силе, что его не трогают. Мы должны быть сильными, не для того, чтобы нападать, а для того, чтобы с нами считались.

Тишина. Я смотрю на их лица. Адмирал с одобрением. Дядя с недоумением. Министр обороны с задумчивостью, а отец... отец смотрит на меня так, словно видит впервые, и я понимаю, что сказал слишком много. Настоящий Карл не мог так говорить, он был мальчишкой, который любил охоту и девушек, а я старик, который видел, как умирает его страна, но назад пути нет.

После обеда мы переходим в гостиную. Кофе, маленькие печенья, разговоры у камина. Я стою у окна, смотрю на сумерки, сгущающиеся над Стокгольмом. Снег падает крупными хлопьями, и фонари отражаются в нем холодным голубым светом. В моей прошлой жизни я ненавидел зиму. Она напоминала мне о старости, о пустоте, о том, что жизнь проходит. Теперь я чувствую холод и радуюсь ему, я жив, я молод, я могу дышать.

— Карл, — ко мне подходит отец, протягивая чашку кофе. — Ты не ответил на вопрос Мёрнера. Так что же мы всё-таки будем делать с противотанковыми орудиями?

Я беру чашку, делаю глоток и горький, терпкий кофе обжигает губы.

— Мы будем делать их, отец, много, и не только их. Мы будем делать всё, что нужно, чтобы в 1945 году никто, ни русские, ни американцы, ни англичане, не посмел смотреть на Швецию свысока, мы Энероты всегда были воинами, а не торговцами. Пришло время напомнить об этом остальным.

Отец молчит долгую минуту. Потом его губы трогает едва заметная улыбка, первая улыбка, которую я вижу на его лице за весь день.

— Добро пожаловать в род, Карл, — говорит он тихо. — Настоящий, наш, наконец-то.

Он хлопает меня по плечу и возвращается к гостям. Я остаюсь у окна, сжимая в одной руке чашку кофе, в другой револьвер, который так и не выпустил с момента вручения. Я смотрю на свою ладонь, на револьвер, на часы на столике, на отца, который смеется с адмиралом, на мать, которая разливает кофе по чашкам, и чувствую, как внутри меня растет уверенность.

Мне подарили револьвер предков, часы прадеда, крест офицеров, карту Балтики и книгу о дипломатических ошибках. Но главный подарок я получил не в этом доме. Главный подарок, это второе дыхание. Второй шанс. Тело двадцати-

четырёхлетнего мужчины, имя, открывающее любые двери, и знание того, что произойдет в ближайшие девяносто лет.

Я поднимаю револьвер к свету, вглядываюсь в гравировку на стволе. «Будь готов». Я готов. Готов больше никогда не быть стариком, который смотрит, как его страна исчезает по кусочкам. Готов быть молодым, сильным, безжалостным. Готов надеть маску барона Карла Энерота так плотно, чтобы никто никогда не увидел под ней Густава, старого, усталого и проигравшего. Потому что теперь у меня есть не только прошлое, у меня есть будущее, и я не собираюсь его упускать.

— С днём рождения, Карл, — шепчу я себе под нос, пряча револьвер во внутренний карман сюртука, рядом с часами и крестом. — Пусть этот год станет последним, когда Швеция играет по чужим правилам, с этого дня правила будем устанавливать мы.

Я делаю последний глоток кофе и возвращаюсь к гостям. Адмирал Ларссон, развалившийся в кресле у камина с бокалом коньяка в руке, машет мне, подзывая к карте, которую он разложил на журнальном столике. Крестный пьян, но это та благородная морская пьяность, которая не мешает мысли, а лишь развязывает язык.

«Садись, мальчик, — командирским тоном произносит он, указывая на кресло напротив. — Смотри сюда».

Его палец, толстый и обветренный, утыкается в точку на балтийском побережье, где обозначен Ленинград.

«Если русские двинутся после войны — а они двинутся,

можешь мне поверить, — то первый удар придется сюда, на Готланд. Остров — ключ к Балтике. Удержим его — удержим море. Потеряем — и Стокгольм станет прифронтовым городом».

Я смотрю на карту и вижу не только минные поля и фарватеры, которые нанесены карандашом. Я вижу то, чего не видят они: через сорок лет советский флот будет стоять на тех же якорных стоянках, и Швеция не сможет ничего противопоставить. Но сейчас я молчу, так как время еще есть.

Дядя, граф Линде, подходит к нам с бокалом портвейна. Он не пьет крепкого, считает это дурным тоном для дипломата. Его лицо, всегда сухое и педантичное, сейчас чуть смягчено теплом камина и хорошим вином.

«Карл, ты прочитал мои пометки в книге?» — спрашивает он, и я киваю.

«Тогда скажи: что ты понял?»

Я смотрю ему прямо в глаза и отвечаю: «Что нейтралитет не означает доверчивость. Мы торговали с немцами железом, а они плели заговор против нас. Дядя, вы знали об этом еще в сорок первом. Вы предупреждали. Но вас не слушали».

Граф медленно кивает, и в его глазах мелькает что-то похожее на уважение. «Меня слушали, но не слышали. Разница велика, а теперь, когда война идет к концу, те же самые люди будут делать вид, что всегда знали, чем всё кончится. История пишется победителями, Карл. Но правда остается

тем, кто её помнит».

Я чувствую вес этих слов. Дядя говорит не только о немцах. Он говорит о тех, кто после войны попытается забыть, как близка была Швеция к катастрофе.

Отец молча ставит передо мной бокал. Я узнаю этот коньяк «Martell Cordon Bleu», довоенный, из погребов, которые берегли для особых случаев. Сам генерал пьет шведский «Brännvin» с легкой горчинкой тмина, он считает, что офицер должен пить то, что доступно солдату. Я делаю глоток, и тепло разливается по груди, смешиваясь с теплом от камина. Отец садится напротив, в кресло, которое принадлежало его отцу, и закуривает сигару, кубинскую, последнюю из коробки, которую он получил от испанского атташе до того, как дипломатические каналы сузились до размеров игольного ушка. Дым плывет к потолку, и в его синеватых клубах я вижу лица других гостей.

Министр обороны Улоф Мёрнер, человек, которого вся страна называет «дядей Улоф», хотя он не состоит в родстве ни с кем из присутствующих, пододвигает свое кресло ближе. Он грузен, но не рыхло, а той тяжелой, основательной грузностью, которая бывает у людей, привыкших держать в руках вес государства. В руке у него стакан с водой, он за рулем и, несмотря на праздник, не позволяет себе лишнего.

«Карл, — говорит он, и его голос звучит мягче, чем я ожидал, — ты сегодня говорил о противотанковых орудиях. Разовьешь мысль?»

Я ставлю бокал на столик и чувствую, как все присутствующие, а их человек десять, поворачиваются ко мне, это не любопытство, это проверка.

Я начинаю медленно, стараясь не выдать волнения.

«Мы не можем тягаться с русскими в количестве танков. Это бессмысленно, у них их будут тысячи, у нас лишь сотни. Но мы можем сделать так, чтобы каждый наш танк стоил трех их. Мы можем делать орудия, которые пробьют любую броню с дистанции, недоступной для ответного огня. Мы можем строить корабли, которые выдержат любой шторм. У нас есть сталь, есть инженеры, есть традиция. Чего нам не хватает, так это стратегии».

Мёрнер поднимает бровь. «Стратегии? У нас есть генеральный штаб».

«У генерального штаба есть планы на следующую войну? — отвечаю я, чувствуя, как внутри поднимается что-то, что я сдерживал девяносто лет. — Но я говорю о стратегии на много лет вперед. О том, какой мы хотим видеть Швецию, когда наши внуки станут взрослыми».

В комнате тишина. Слышно только потрескивание дров в камине да тихое позвякивание льда в чьем-то стакане. Управляющий Риксбанком Ивар Рут, до этого молчавший и лишь прихлебывавший свой шведский пунш из тонкого стакана, вдруг произносит: «Много лет, барон, это тридцать или пятьдесят? Вы уверены, что экономика может планироваться на такой срок?»

Я смотрю на него. Человек-хорек с глазами, видящими на пять лет вперед, что для банкира считается даром пророческим.

«Господин Рут, экономика планируется на срок кредита, а политика на срок жизни нации. Если мы не будем думать о том, какой станет Швеция через полвека, через полвека о ней никто не будет думать вообще».

Адмирал Ларссон крикает, отставляя пустой бокал. «Хорошо сказано, мальчик, а теперь скажи: что ты предлагаешь делать? Кроме как строить пушки и корабли?»

Я медленно обвожу взглядом комнату. Отец спокоен, но я вижу, как его пальцы сжимают подлокотник кресла. Дядя застыл с бокалом в руке. Мёрнер откинулся на спинку, но глаза его внимательны. Полковник Линдерот, начальник разведки, до этого сидевший в тени и лишь попыхивавший трубкой, наклоняется вперед, и я впервые вижу его лицо, некрасивое, рябое, с глубокими морщинами, но глаза светятся тем холодным огнем, который бывает у людей, слишком много знающих.

«Я предлагаю, — говорю я, и голос мой звучит тверже, чем я ожидал, — создать круг, неофициальный. Мы, здесь сидящие, встречаться раз в месяц, говорить о том, что происходит в стране и в мире, обмениваться мнениями, спорить. Но не как на официальных заседаниях, где каждый боится сказать лишнее, а как люди, которые хотят для Швеции одного, чтобы она выжила и осталась собой».

Я замолкаю, чувствуя, как сердце колотится где-то в горле. Я сказал это, я предложил создать то, что в моей прошлой жизни называлось бы «мозговым центром» или «теневой структурой». Здесь, в 1944-м, это будет просто клуб старых друзей, которые собираются выпить и поговорить, но я знаю, чем это может стать.

Первым молчание нарушает отец. «Ты хочешь, чтобы мы, старики, собирались и слушали, как ты, молокосос, учишь нас уму-разуму?»

В его голосе нет насмешки, скорее, любопытство. Я смотрю ему прямо в глаза.

«Я хочу, чтобы мы собирались и думали вместе. У вас опыт. У меня молодость и... некоторые идеи. Может быть, из этого выйдет что-то полезное».

Генерал усмехается, впервые за вечер и поворачивается к Мёрнеру.

«Что скажешь, Улоф? Будем собираться в клуб, где нам будет указывать двадцатичетырехлетний прапорщик?»

Мёрнер медленно улыбается, и его тяжелое лицо становится почти добрым. «Прапорщик, который сегодня сказал больше, чем весь генеральный штаб за последний год, я за».

Дядя Линде ставит бокал на столик и произносит сухо, но без обычной педантичности: «В министерстве я не могу говорить то, что думаю. Слишком много ушей, слишком много протоколов. Здесь могу. Я тоже за».

Адмирал Ларссон уже наливает себе второй коньяк,

несмотря на предостерегающий взгляд отца. «За! Только давайте не в моем кабинете, там вечно дует из щелей. У Карла здесь тепло, и вино хорошее».

Ивар Рут поправляет очки и произносит с видом банкира, подписывающего выгодный контракт: «Я поддерживаю. Но с условием: мы будем говорить не только о пушках и кораблях, но и о деньгах, без денег, господа, даже самая лучшая стратегия остается мечтой».

Полковник Линдерот молча кивает, выпуская клуб дыма из своей трубки. Это его «за».

Отец поднимается с кресла, подходит к столу, где стоит графин с коньяком, и наливает себе полный бокал то, чего он не делал никогда, сколько я его помню. Возвращается, садится и произносит: «Клуб создан. Осталось выбрать председателя».

Я открываю рот, чтобы предложить кандидатуру отца или дяди, но Мёрнер опережает меня: «Председателем будет тот, кто придумал - Карл».

Адмирал одобрительно гудит. Дядя кивает. Рут пожимает плечами: «Почему нет? Молодость не порок».

Я смотрю на отца, он медленно поднимает свой бокал. «За председателя и пусть он нас не опозорит».

Я поднимаю свой бокал, и в этот момент чувствую, как что-то внутри меня, то, что осталось от старого Густава, наблюдавшего, как умирает его страна, — отпускает. Не совсем, но достаточно, чтобы я мог улыбнуться.

«Я принимаю, — говорю я. — Но с одним условием».

Все смотрят на меня. «Мы не будем ждать следующего месяца. Сейчас война, и время работает не на нас. Я предлагаю собраться через две недели. У меня будет... кое-какая информация, и кое-какие предложения».

Отец поднимает бровь, но не спрашивает, откуда у меня может быть информация, которой нет у них. Может быть, он догадывается. Может быть, просто доверяет.

Мы пьем. За клуб, за Швецию, за то, чтобы дубы выпрямились. Адмирал заказывает еще коньяк. Дядя просит мать принести кофе покрепче. Рут и Мёрнер обсуждают курс кроны и то, как после войны Европа будет платить по счетам. Полковник Линдерот подходит ко мне, когда я стою у окна, и тихо произносит, чтобы никто не слышал:

«Барон. У меня к вам будет разговор. Не здесь, не сейчас. Но скоро».

Я смотрю на него. Его лицо в полумраке кажется вырезанным из старого дерева. «Я буду ждать, полковник».

Он кивает и отходит, оставляя меня с мыслью о том, что разведка уже заметила что-то необычное в молодом бароне. Но это пока не опасно.

Я возвращаюсь в кресло у камина, чувствуя, как тепло от огня смешивается с теплом коньяка и с тем, другим теплом, отцовским, материнским, которое я считал потерянным навсегда. В моей прошлой жизни я не был председателем ничего, кроме совета директоров умирающей корпорации. Те-

перь я председатель клуба, где министры и генералы называют меня на «ты» и слушают мои слова. Это смешно, это нелепо, это единственный шанс, который у меня есть. Я смотрю на отца, который спорит с адмиралом о том, нужно ли строить новые эсминцы или лучше вложить деньги в подводные лодки. Смотрю на дядю, который что-то чертит на салфетке, объясняя Рут дипломатические последствия раздела Германии. Смотрю на мать, которая вносит новую чашку кофе и ставит ее передо мной, едва касаясь плеча.

«Ну что, председатель, — говорит Мёрнер, поднимая свой стакан с водой, словно это шампанское. — Каков будет первый приказ?»

Я улыбаюсь, чувствуя, как эта улыбка идет из самой глубины, из того места, где девяносто лет хранилась горечь и одиночество. «Первый приказ, дядя Улоф: всем выпить. Потому что сегодня день рождения Швеции. Той Швеции, которая не сдастся».

Я делаю паузу, чувствуя, что сейчас наступил тот самый момент, который может либо вознести меня, либо выставить полным глупцом перед этими людьми. Но во мне говорит не молодость, а девяносто лет наблюдений, ошибок и сожалений.

«Господа, — говорю я, обводя взглядом комнату, — позвольте мне сказать нечто, что может показаться безумным. Но я прошу выслушать до конца».

Отец отставляет свой бокал и смотрит на меня с тем вы-

ражением, которое я уже начинаю узнавать, смесь любопытства и тревоги. Адмирал поднимает бровь. Дядя замирает с бокалом в руке. Полковник Линдерот наклоняется вперед, и его трубка замирает в дюйме от губ.

«Война в Европе идет к концу, это видят все. Немцы проиграли, вопрос лишь в том, сколько месяцев они продержатся, а это значит, что их войска скоро уйдут из Норвегии и Дании. Освобожденные территории окажутся в вакууме силы, и я предлагаю задать вопрос, а почему бы нам не договориться с немцами прямо сейчас? Не сражаться с ними, не ждать, пока их вышвырнут союзники, а купить Норвегию и Данию. За золото. За сорок тонн золота например, которые лежат в подвалах Риксбанка».

В комнате повисает такая тишина, что слышно, как потрескивают дрова в камине. Мёрнер, который до этого пил воду, медленно ставит стакан на столик, и стекло звенит о дерево, рука его дрогнула. Адмирал Ларссон, который всегда славился невозмутимостью, роняет сигару на ковер и не замечает этого. Первым тишину нарушает дядя. Голос его звучит сухо, но я чувствую под этой сухостью искреннее изумление.

«Карл, ты понимаешь, что говоришь? Норвегия была в унии с нами с 1814 по 1905 год. Мы потеряли её по Карлстадским соглашениям. Вернуть её это отменить результат столетней давности, а Дания... Швеция никогда не владела Данией, у нас с ними счет длиной в четыреста лет войн: Север-

ная семилетняя, Кальмарская, Сконская, мы воевали за господство на Балтике и так и не решили этот спор до конца и ты предлагаешь... их просто купить?»

Я смотрю на дядю и киваю. «Да, дядя. Просто купить. Немцы проигрывают войну, их промышленность разрушена бомбежками, их армия отступает на всех фронтах, их ждет раздел и оккупация. Что им нужно сейчас? Золото. Швейцарские франки. Возможность заплатить репарации и хоть как-то сохранить остатки экономики. У нас есть золото. Сорок тонн это сумма, которая заставит их забыть о гордости и подписать любой документ. Они уходят из Норвегии и Дании в любом случае. Почему бы им не уйти так, чтобы эти территории перешли к нам, а не остались в хаосе, который тут же заполнят англичане или русские? Тем более что и золото можно никуда не возить пусть лежит где лежало просто записать их на требуемых людей».

Управляющий Риксбанком Ивар Рут, который до этого молчал и лишь прихлебывал свой пунш, отставляет бокал и поправляет очки. Его лицо, обычно напоминающее хорька, сейчас сосредоточено и серьезно.

«Сорок тонн, барон. Вы понимаете, о какой сумме идет речь? Это тридцать пять - сорок процентов нашего золотого запаса. Мы копили это золото десятилетиями, чтобы обеспечить стабильность кроны в военное время. Отдать его немцам... Это безумие, если не сказать предательство национальных интересов».

Его голос дрожит, и я понимаю, что задел самое больное — деньги. Для Рута золотой запас, это святое, неприкосновенное.

Но я готов. Я ждал этого возражения. «Господин Рут, я уважаю вашу позицию. Вы хранитель финансовой стабильности Швеции. Но позвольте спросить, что будет с нашей стабильностью, когда Норвегия и Дания, освобожденные от немцев, окажутся под протекторатом Англии? Или, что еще хуже, когда советские войска дойдут до Датских проливов? У нас не будет золота, потому что у нас не будет страны, которую это золото защищает. Сорок тонн это цена за то, чтобы Балтийское море оставалось нашим, за то, чтобы вход в проливы контролировали мы, а не чужие. Это не трата, это инвестиция в безопасность на сто лет вперед».

Адмирал Ларссон, наконец подобравший сигару и затушивший ее о край пепельницы, крикает и стучит кулаком по подлокотнику. «Мальчик прав. Сорок тонн это много. Но знаете, сколько мы потеряем, если русские или англичане заблокируют выход из Балтики? Всё. Всё, что мы имеем. Торговлю, флот, возможность дышать. Я тридцать лет служу на флоте и знаю, кто владеет проливами, тот владеет Балтикой. Датские проливы это горло, через которое проходит вся наша жизнь. Если мы их не возьмем, их возьмут другие, и тогда никакое золото нам не поможет».

Мёрнер, который слушал молча, вдруг произносит, и голос его звучит тяжело, как приговор: «Англичане и русские

не простят нам такого шага. Они скажут, что мы торговали с врагом. Что мы купили территории у нацистов, пока они проливали кровь, нас могут объявить пособниками, а это значит: эмбарго, изоляция. Послевоенная Европа нас просто растопчет».

Я смотрю на министра обороны и вижу, что он не отвергает идею, он просчитывает риски. Это хороший знак, значит, идея имеет вес.

Я делаю еще один глоток коньяка, собираясь с мыслями. «Дядя Улоф, я не предлагаю делать это тайно. Я предлагаю сделать это открыто, как сделку, которая спасает Норвегию и Данию от хаоса. Мы не торгуем с врагом, мы платим за то, чтобы враг ушел быстрее и без разрушений. Мы выступаем как сила, которая восстанавливает порядок в регионе, когда другие еще воюют. Англичане и русские могут злиться, но они не станут воевать с нами из-за этого, у них другие заботы, а через год, когда пыль осядет, они поймут, что стабильная Скандинавия под нашим контролем лучше, чем регион, раздираемый спорами и претензиями».

Дядя Линде, который до этого сидел неподвижно, вдруг поднимается и подходит к окну. Он стоит спиной к нам, глядя на темный Стокгольм, и его голос, когда он наконец говорит, звучит тише, чем обычно. «В 1905 году мы подписали Карлстадские соглашения. Мы согласились на разрыв унии, потому что боялись войны. Мы думали, что Норвегия сама поймет, как ей выгодно быть с нами. Но она не поняла. Она

ушла в нейтралитет, который не смогла защитить, и в 1940-м немцы оккупировали её за месяц, а мы смотрели через горы и не могли ничего сделать, потому что у нас не было ни права, ни сил вмешаться».

Он поворачивается к нам, и я впервые вижу в его глазах что-то, кроме сухой дипломатической отстраненности. «Карл предлагает не просто купить землю. Он предлагает вернуть то, что мы потеряли по трусости, и это... это стоит сорока тонн золота».

Адмирал Ларссон уже наливает себе второй коньяк, не обращая внимания на предостерегающий взгляд отца. «Я за. Я тридцать лет ждал, когда кто-то скажет это вслух. Черт с ним, с золотом! Напечатаем новые деньги. У нас лес, руда, вода, восстановимся, а проливы это шанс, который дается раз в столетие. Не упустим его».

Мёрнер качает головой, но я вижу, что его сопротивление слабеет. «Ты забываешь о политической цене, Клас. Нас могут выгнать из всех послевоенных организаций. Лига Наций... что от нее осталось... новые структуры, которые создают американцы...»

Рут, который до этого сидел с закрытыми глазами, вдруг открывает их и произносит ровным, спокойным голосом: «Сорок тонн это много. Но если сделка пройдет как официальная репарация, если мы назовем это не покупкой, а компенсацией за ущерб, нанесенный шведской экономике немецкой блокадой... юридически это можно оформить так,

что и англичане, и русские не смогут придрататься. Я не говорю, что это просто. Я говорю, что это возможно. С хорошими юристами».

Я смотрю на Рута и понимаю, что этот человек, который казался мне просто банкиром, на самом деле игрок. Он просчитывает варианты не как хранитель, а как стратег.

Полковник Линдерот, который до сих пор молчал, выпуская клубы дыма из своей трубки, наконец произносит: «У меня есть информация. Не для протокола. Русские уже готовят операции в Прибалтике. После взятия Кенигсберга их флот выйдет на просторы Балтики. Если они закрепятся в Либаве и Мемеле, следующий шаг Датские проливы, у нас есть год, может быть, два, пока они перегруппируются. Если мы не займем эти территории сейчас, мы будем иметь русских на южных подступах к Стокгольму через десять лет».

Он замолкает и выбивает пепел из трубки. Больше он ничего не добавляет, но его слова висят в воздухе, как приговор.

Отец, который все это время сидел неподвижно, откинувшись в кресле, вдруг подается вперед. Я смотрю на него и вижу, как его пальцы сжимают подлокотник, побелевшие от напряжения. «Карл. Ты уверен, что немцы согласятся? Они могут решить, что лучше уничтожить всё, чем отдать. Они могут взять золото и не уйти. Они могут...»

Я прерываю его, хотя понимаю, что перебивать отца при гостях нарушение всех мыслимых приличий. «Отец. Я знаю

немцев. Я знаю их логику. Они проиграли войну, их генералы уже сейчас ищут способы сохранить хоть что-то. Золото даст им возможность вести переговоры с союзниками, а Норвегия и Дания для них обуза, которую они не могут удержать. Они уйдут в любом случае. Вопрос лишь в том, оставят ли они после себя разруху или уйдут с деньгами и гордостью, что не отдали территории врагу, а передали их нейтральной стране».

В комнате тишина. Я смотрю на каждого из них по очереди. Адмирал пьян, но глаза его горят. Дядя бледен, но спокоен. Рут сосредоточен, просчитывает цифры. Мёрнер колеблется, но я вижу, что он уже почти согласен. Линдерот просто ждет, наблюдая, и отец... отец смотрит на меня так, словно видит впервые. Потом он медленно поднимает свой бокал.

«Ты безумец, Карл. Ты предлагает то, о чем никто из нас не смел даже думать. Но в этом безумии... есть своя логика. Я не знаю, согласятся ли немцы. Я не знаю, простят ли нас союзники. Я не знаю, хватит ли у нас золота, чтобы заплатить эту цену, и хватит ли сил, чтобы удержать то, что мы купим. Но я знаю одно, что если мы не попробуем, мы никогда не узнаем, и через двадцать лет, когда русские будут стоять в проливах, мы будем проклинать себя за трусость».

Он поворачивается к остальным. «Господа. Я предлагаю не принимать решений сегодня. Но я предлагаю поддержать Карла в том, чтобы он проработал этот вопрос. Связался

с нужными людьми. Оценил возможности, а мы, каждый в своем ведомстве, окажем ему содействие. Неофициальное, без протоколов, без бумаг».

Адмирал Ларссон поднимает свой бокал. «Поддерживаю. Карл, через неделю я жду тебя в штабе флота. Покажу тебе все, что мы знаем о проливах, о базах, о том, что нам нужно для контроля над ними».

Дядя кивает, возвращаясь к своему портвейну. «Я подготовлю дипломатическую записку. О том, как можно оформить такую сделку, чтобы она выглядела легально. Это не для подписания, просто для понимания границ возможно-го».

Рут вздыхает, но его голос звучит твердо: «Я подготовлю справку о золотом запасе. О том, сколько мы можем выделить, не подорвав экономику. И о том, как можно провести такую операцию, чтобы не обрушить рынок».

Мёрнер поднимает свой стакан с водой, словно это шампанское. «Я за. Но, Карл, помни: если это выйдет наружу, я буду отрицать, что знал. И ты меня не вини. Политическая цена может быть выше, чем мы думаем. Но если ты сможешь... если ты действительно сможешь это повернуть...»

Он не заканчивает фразу, но я понимаю. Если я смогу, это изменит всё. Это сделает Швецию не наблюдателем, а игроком, настоящим - Хозяином Балтики с выходом и в Северную Атлантику.

Линдерот последним поднимает свою трубку, словно тост.

«Я дам вам информацию. О том, что реально, а что нет, о том, что думают немцы. О том, что будут делать русские. Без этого любой план гадание на кофейной гуще».

Он смотрит на меня, и в его глазах я вижу то, чего не видел ни у кого из присутствующих. Он знает, или, по крайней мере, подозревает. Но он не спрашивает, откуда у меня эти идеи. Может быть, для него это не важно. Важен результат.

Я поднимаю свой бокал. «Господа. Спасибо. Я не знаю, получится ли у нас. Но я знаю одно: через девяносто лет наши внуки либо будут жить в стране, которая сама решает свою судьбу, либо будут просить защиты у чужих, потому что мы не посмели. Я не хочу, чтобы они просили. Я хочу, чтобы они были хозяевами в своем доме».

Я пью, и коньяк обжигает горло, но это хороший огонь. Огонь, который разгорается внутри, там, где девяносто лет была только зола.

Мы пьем, за клуб, за Швецию, за безумную идею, которая может либо спасти страну, либо уничтожить всё, что мы имеем. Но в глазах каждого из этих людей, адмирала, дипломата, банкира, министра, разведчика, генерала, я вижу не страх. Я вижу надежду. Ту самую надежду, которую я считал потерянной навсегда. Они не знают, что я пришел из времени, где Швеция сдалась, продала заводы, вступила в чужие альянсы и забыла, что такое гордость. Но они скоро узнают, что такое не сдаваться. Я сделаю так, чтобы узнали, и, может быть, через девяносто лет кто-то, сидя у камина в старом особняке

на Стрёмгатан, поднимет бокал и скажет, спасибо тем, кто посмел.

День после

Я просыпаюсь оттого, что кто-то настойчиво стучит в дверь. Вчерашний коньяк оставляет в голове ровно столько тяжести, сколько нужно, чтобы напомнить: ты больше не старик, которому похмелье обеспечено двумя бокалами. Двадцать четыре года. Тело справляется. Я сажусь на кровати, чувствуя, как солнечный свет, пробивающийся сквозь тяжелые шторы, режет глаза, но это приятное ощущение, живое, настоящее.

— Войдите, — говорю я, и горничная вносит поднос с утренним кофе. Сегодня он крепче, чем обычно, с маленьким кусочком сахара-рафинада, так как мать знает, что после вчерашнего это необходимо. Я делаю глоток, чувствуя, как горечь растекается по языку, и откидываюсь на подушки. В комнате тихо, только часы на каминной полке отсчитывают секунды. Мои часы. Точнее, часы прадеда, которые теперь стали моими. Я смотрю на них, половина девятого.

Ванная в доме Энеротов, это отдельная история. В отличие от большинства стокгольмских квартир, где удобства часто располагались в коридоре, родовой особняк на Стрёмгатам был перестроен в 1920-х с размахом, достойным семьи, которая не считает деньги. Фарфоровая ванна на львиных лапах, медные краны с выгравированными инициалами «Н.Е.» моего отца, полотенца из египетского хлопка, кото-

рые меняют два раза в неделю, и целая батарея флаконов и баночек, оставшихся от настоящего Карла. Я смотрю на них с любопытством: одеколон «4711», который в моей прошлой жизни считался бабушкиным, здесь признак хорошего тона; помазок для бритья из барсучьей щетины, опасная бритва «Heljestränd» — шведская сталь, лучшая в мире. Я бреюсь медленно, привыкая к своему новому лицу, к тому, как свет падает на скулы, к жесткой щетине, которая у старика была седой и редкой, а здесь густая, темная, живая.

Вода в ванне горячая, угольные колонки греют исправно, хотя угля в Стокгольме этой зимой меньше, чем хотелось бы. Я лежу в пене, смотрю на высокий потолок с лепниной и думаю о деньгах. Вчерашний разговор о сорока тоннах золота был грандиозен, но сейчас меня интересуют мои собственные финансы. Те, что позволят мне двигаться, действовать, не спрашивая разрешения у отца. Я вылезаю из ванны, вытираюсь огромным махровым полотенцем и иду к секретеру, где храню документы.

Секретер — красное дерево, инкрустация перламутром, подарок матери на восемнадцатилетие настоящего Карла. Я открываю его, и передо мной предстает аккуратно разложенное богатство молодого барона. Текущий счет в **Stockholms Enskilda Bank** тысяча двести крон. Наличные в шкатулке е восемьсот. Ежемесячный доход от fidekommiss всего триста пятьдесят крон. Офицерское жалование восемьдесят. Итого, четыреста тридцать в месяц, плюс накопления, это в три раза

больше, чем у квалифицированного рабочего. Но траты тоже не детские. Чистка костюмов, обеды в клубах, извозчики, подарки, книги, сигары. Я сажусь за секретер и начинаю подсчеты на листе бумаги, выводя цифры своим старым, привычным почерком, который так не похож на каллиграфию настоящего Карла.

После получаса подсчетов я понимаю: я не богат. Я обеспечен, но не богат. Настоящее богатство это состояние отца, земли в Сёдерманланде, акции Vofors и SKF, доверительные фонды, которые приносят доход, о котором я не имею представления. Мой личный капитал, это карманные деньги, достаточные для безбедной жизни, но недостаточные для серьезных проектов. Однако у меня есть то, что важнее денег, имя, связи, доступ, и я намерен использовать это сполна.

Я одеваюсь. Сегодня не надо парадного сюртука я выбираю серый твидовый пиджак, вельветовые брюки, коричневые ботинки на толстой подошве, которые настоящий Карл купил перед войной у Tärnsjö и которые до сих пор выглядят как новые. Белая рубашка, галстук в тонкую полоску, шерстяной жилет. Всё высокое качество, ничего кричащего. Тихая роскошь, которая не нуждается в лейблах. В моей прошлой жизни я носил костюмы от Tiger и Eton, думая, что это шик. Теперь я понимаю, что настоящий шик, это когда портной знает твою фамилию три поколения, а ткань заказывают из Англии, несмотря на войну, потому что шведская не дает нужной драпировки.

Завтрак в столовой. Мать уже уехала, у неё встреча в Красном Кресте, она возглавляет дамский комитет по сбору средств для военнопленных. Отец завтракает в одиночестве, читая Svenska Dagbladet. На столе овсяная каша с брусничным вареньем, вареное яйцо, два ломтика ржаного хлеба с маслом, кофе. Я сажусь напротив, и он откладывает газету.

— Голова не болит? — спрашивает он сухо, но я чувствую в этом вопросе заботу.

— Нет, отец. Спасибо за вчерашний коньяк, и за поддержку.

Он кивает, возвращаясь к газете. Я вижу заголовок: «Tyskarna drar sig tillbaka i Ardennerna» (немцы отступают в Арденнах). Война катится к концу, и все это знают. Но никто не знает, что будет потом, кроме меня.

— Ты сегодня куда? — спрашивает отец, не поднимая глаз.

— Встречаюсь с друзьями. В Operakällaren. Обед посвященный моему дню рождения.

— С кем именно?

Я перечисляю имена, которые настоящий Карл называл в разговорах. Отец кивает, удовлетворенный. Все они из «правильных» семей. Он знает их отцов, дедов, историю рода на три поколения назад.

— Передавай привет Фольке, и скажи ему, что его отец звонил вчера. Спрашивал, когда Фольке наконец явится на стрельбище.

— Передам, — говорю я, хотя понятия не имею, кто такой Фольке и какое стрельбище имеется в виду, но я узнаю.

После завтрака я поднимаюсь в свою комнату за пальто и шляпой. В прихожей меня останавливает горничная.

— Барон, вам письмо.

Я беру конверт. Тонкая бумага, изящный почерк, обратный адрес указан дворец. Я вскрываю его и читаю несколько строк: «Дорогой Карл, слышал о вчерашнем. Жду подробностей. Бертиль».

Я не знаю, кто такой Бертиль, но обратный адрес говорит сам за себя. Кто-то из королевской семьи. Я прячу письмо во внутренний карман. Значит, у настоящего Карла были связи и во дворце, это нужно использовать.

Я выхожу на улицу. Стокгольмское утро серое, но сухое. Снег, выпавший на прошлой неделе, уже утрамбован, и тротуары посыпаны песком. У ворот особняка меня ждет не извозчик и не такси, которых в Стокгольме 1944 года всего около пятисот, а старый Volvo PV51, еще 1938 года выпуска, который отец выделил мне в личное пользование. Машина темно-зеленая, с деревянными вставками в дверях, без лишних украшений. Не роскошь, но статус: в военное время иметь личный автомобиль и бензин к нему могут позволить себе немногие. Я сажусь за руль, и двигатель заводится с пол-оборота. Шведская надежность. Я выруливаю на набережную, и Стокгольм разворачивается передо мной во всей своей суровой красоте.

Ресторан Operakällaren при Королевской опере, место, где встречается элита. Не та, что сверкает бриллиантами на официальных приемах, а та, что не нуждается в демонстрации. Я паркуюсь на набережной, поднимаюсь по ступеням и вхожу в вестибюль. Меня встречают с легким поклоном, знают в лицо. Я называю имя, и меня проводят в отдельный кабинет на втором этаже, где уже собрались пятеро.

— Карл! — первым встает высокий светловолосый парень с открытым лицом и руками, которые, кажется, никогда не знают, куда деться. — А мы думали, ты не придешь после вчерашнего!

Это Фольке Линдман. Я узнаю его по описанию, которое наскоро собрал перед выходом. Фольке — сын генерала Линдмана, начальника штаба ВВС. Ему двадцать шесть, он лейтенант, летчик, и, судя по всему, лучший друг настоящего Карла. Его рукопожатие крепкое, немного грубоватое, а глаза смотрят прямо, без тени подобострастия. Он из тех, кто в случае войны пойдет в разведку и не вернется, но делает это с улыбкой.

— Фольке, — я пожимаю его руку, и в этот момент подходит второй.

Юхан Сёдерберг, сын президента Voforgs, оружейной империи, которая кормит половину Швеции. Ему двадцать пять, он худой, очкастый, с зачесанными назад волосами и манерами, которые выдают инженерное мышление. Он не пожимает руку, а слегка кивает, как на заседании совета ди-

ректоров. В руках у него папка с чертежами, он никогда с ними не расстается. Я улыбаюсь, Юхан фанат, он будет полезен.

Третий — Густав Бернадотт. Да, тот самый. Двоюродный брат короля, принц, но без титула — морганатическая ветвь, которая тем не менее остается частью семьи. Густаву двадцать семь, он служит атташе в МИДе, и его присутствие в нашей компании — знак того, что настоящий Карл вращался в самых высоких кругах. Он элегантен, сдержан, одет у **Ahlberg**, но без всякого шика, просто так, как одеваются люди, которым не нужно никому ничего доказывать.

«Карл, — говорит он, протягивая руку, — твой дядя рассказывал о вчерашнем собрании, я впечатлен».

Его голос ровный, но я чувствую за этим интерес, не любопытство интерес стратега.

Четвертый — Биргитта Валленберг. Да, та самая фамилия. Дочь Маркуса Валленберга-младшего, главы Stockholms Enskilda Bank, которая, несмотря на молодость, уже считается одним из самых умных людей в финансовых кругах.

Ей двадцать три, она одевается просто, но я вижу, что ткань ее платья — итальянский шелк, который в военное время стоит состояния. Она не красится, не носит украшений, но ее лицо — точеное, с высокими скулами и холодными голубыми глазами — приковывает внимание. «Карл, — говорит она, не вставая. — Твой отец говорил, что ты

стал серьезнее. Похоже, он не ошибся». В ее голосе нет кокетства. Только холодная, расчетливая вежливость человека, который привык, что его слушают.

Пятый — Торбьёрн Ульфссон. Сын главного архитектора Стокгольма, человека, который строил городскую библиотеку и планировал новый центр на Норрмальм. Торбьёрну двадцать четыре, он учится в Королевском технологическом институте, и его страсть мосты. Не те, что строят инженеры, а те, что связывают людей, города, страны. Он мечтает о мосте через Эресунн, идее, которая в 1944-м кажется фантастикой.

«Карл, — он подходит и сжимает мою руку обеими ладонями, — я слышал, ты говорил о Швеции, которая не сдастся. Это правильно, мы должны строить. Не только пушки. Мосты. Дороги. Города».

Я смотрю в его горящие глаза и понимаю, что этот парень будет полезнее, чем любой генерал.

Мы садимся за стол. Обед в Operakällaren это ритуал. Белая скатерть, тяжелое серебро, хрусталь, который помнит короля Оскара II. Официанты в черных фраках, безупречные, как на параде. Меню скудное, по довоенным меркам, но роскошное для декабря 44-го: сельдь с картофелем, лосось под укропным соусом, жаркое из оленины с брусничным вареньем, на десерт подали prinsesstårta, зеленый марципановый торт, который стал символом шведской кухни. Фольке заказывает пиво, Юхан минеральную воду, Биргитта белое вино из французских запасов ресторана. Густав берет коньяк, я то

же самое. Торбьёрн, как и Юхан, пьет воду.

— Карл, — начинает Фольке, когда первая сельдь отправляется в рот. — Что вчера произошло? Отец вернулся домой и сказал только, что ты «произвел впечатление», это звучит угрожающе.

Я рассказываю. Не всё, конечно. О клубе, о разговоре с дядьями, о том, что меня выбрали председателем. О золоте, Норвегии и Дании я молчу, это не для чужих ушей, даже если эти уши принадлежат друзьям. Но я рассказываю о том, что говорил о стратегии, о силе Швеции, о том, что мы не должны сдаваться. Фольке слушает, откинувшись на спинку стула, и на его лице расцветает улыбка.

«Карл! Ты! Ты, который всегда говорил только о девушках и охоте! И вдруг — стратегия, пятьдесят лет вперед! Что с тобой случилось?»

— Я повзрослел, Фольке, — отвечаю я спокойно. — Война меняет людей.

Юхан поправляет очки и смотрит на меня с подозрением. «Ты говорил о противотанковых орудиях. О подкалиберных снарядах. Откуда ты это знаешь? Ты же никогда не интересовался артиллерией».

Я делаю глоток коньяка и чувствую, как голову наполняет приятное тепло. «Я читал. Немецкие отчеты, английские технические журналы. Война это соревнование инженеров, мы должны быть лучшими».

Юхан молчит, но я вижу, что он не удовлетворился отве-

том. Он будет следить за мной, это хорошо, он скептик, которого можно убедить лишь фактами.

Биргитта, которая до этого молчала, вдруг произносит: «Карл, твой клуб это очень интересно. Но скажи, ты действительно думаешь, что старики будут слушать тебя? Они привыкли принимать решения сами. Им не нужен мальчик с идеями».

В ее голосе я слышу вызов. Она проверяет меня. Я смотрю на нее прямо и говорю: «Биргитта, я не предлагаю им решений. Я предлагаю им идеи, а идеи, если они хороши, живут своей жизнью. Моя задача сделать так, чтобы эти идеи были не моими, а их. Тогда они будут воплощены».

Она поднимает бокал. «За хорошие идеи. И за того, кто умеет их продавать». Мы пьем, и я чувствую, что прошел первый тест.

Густав Бернадотт, который слушал весь разговор с выражением легкого любопытства, вдруг наклоняется ко мне.

«Карл. Твой дядя, граф Линде, сказал мне сегодня утром, что ты хочешь изменить Швецию. Я спросил: что именно? Он ответил: всё. Это правда?»

Я смотрю на него. Принц. Человек, который ближе к трону, чем кто-либо из нас. Сейчас он говорит не как друг, а как представитель династии, я должен быть осторожен.

— Густав, я не хочу менять Швецию. Я хочу, чтобы она осталась собой. Сегодня мы торгуем с немцами, завтра будем торговать с союзниками, послезавтра, с кем угодно, воз-

можно даже с СССР. Но если у нас не будет силы, нас будут диктовать условия. Я хочу, чтобы через пятьдесят лет, когда наши дети спросят, что мы сделали, мы могли ответить: мы сделали Швецию сильной, не самой богатой, но сильной.

Густав медленно кивает. «Сильной. Это слово много значит. Мой дед, король Густав V, говорил то же самое в 1914-м. Потом была война, потом мир, и все забыли, а ты помнишь».

Он откидывается на спинку стула. «Я буду наблюдать, Карл, и может быть, помогу. Если увижу, что ты не просто говоришь».

Торбьёрн, который до этого молчал, вдруг взрывается: «Карл, а что ты думаешь о мостах? Ты говорил о связи. О том, чтобы связать страну. Я хочу строить мост через Эресунн. Соединить Швецию с Данией. Это безумие, я знаю, но представь: поезда, которые идут из Стокгольма в Копенгаген без паромов. Товары, которые идут без перегрузки. Это изменит всё!»

Я смотрю на Торбьёрна и вижу перед собой мальчишку, который мечтает о том, что станет реальностью через пятьдесят пять лет. Мост Эресунн, который я видел в своей прошлой жизни, который соединил две страны и стал символом новой Европы. Но в 1944-м это звучит как фантастика. Я улыбаюсь.

«Торбьёрн, твой мост будет построен. Не сейчас, потому что сейчас война и не до того. Но он будет построен. Я верю в это, и когда это случится, Швеция и Дания станут ближе, чем

когда-либо за тысячу лет. Но сначала мы должны выиграть этот мир, так же, как выиграли войну».

Фольке смеется. «Карл, ты сегодня философ. Вчера был стратег, сегодня философ. А завтра?»

Я пожимаю плечами. «Завтра может быть, инженер, дипломат, или просто швед, который хочет, чтобы его страна была собой».

Мы пьем за это. За Швецию, за друзей, за безумные мечты, которые, возможно, когда-нибудь сбудутся.

После обеда мы выходим на улицу. Стокгольм в сумерках — город теней и редких огней. Биргитта садится в свой шикарный Volvo, за рулем которой сидит шофер в ливрее. Фольке предлагает подбросить меня, но я отказываюсь, хочу пройти пешком. Густав жмет мне руку дольше обычного.

«Карл. Будь осторожен. Твои идеи опасны. Не все готовы их слышать». Я киваю. Я знаю это лучше, чем он может себе представить.

Торбьёрн и Юхан уходят вместе, споря о чем-то техническом, и я остаюсь один на набережной. Снег начинает падать крупными хлопьями, и фонари отражаются в нем холодным голубым светом. Я смотрю на город, который станет другим через девяносто лет, и думаю о том, что сегодня я сделал первый шаг. Не к золоту, не к власти, а к людям. К друзьям. К тем, кто будет строить новую Швецию. Фольке военный, который знает, что такое риск. Юхан инженер, который сможет воплотить любую идею в металл. Биргитта отличный фи-

нансист, которая заставит деньги работать на страну. Густав обеспечит связь с короной и легитимность, а Торбьёрн мечтатель, который видит будущее.

Я иду домой. В голове крутятся планы, идеи, цифры. Но главное, что я чувствую, то это уверенность. Не та, что была у старого Густава, наблюдавшего за умиранием своей страны, а та, что бывает у молодого человека, у которого есть цель, есть союзники и есть время. Двадцать четыре года. Целая жизнь впереди, и я не потрачу её зря.

Понедельник день тяжелый

Граф Линде, Министерство иностранных дел. Стокгольм. 18 декабря, понедельник

Министерство иностранных дел Швеции размещалось в здании на Густав-Адольфс-торг, 1 — строгом неоклассическом дворце, обращенном фасадом к набережной Норрстрём. Часы в вестибюле показывали четверть одиннадцатого, когда граф Линде поднялся по мраморной лестнице на второй этаж, где находилась его резиденция как статс-секретаря по политическим вопросам. Охранники у входа козыряли с той особенной выправкой, которая отличала служащих Утрикесдепартамента от обычных военных: здесь, на Густав-Адольфс-торг, война была не столько полем боя, сколько игрой дипломатических нот и торговых соглашений. В кабинете пахло кожей кресел, воском и сухими чернилами, теми запахами, которые не менялись здесь десятилетиями.

На стенах висели портреты министров прошлых лет и карта Скандинавии, на которой шведские территории всё ещё были отмечены как центр северного мира. Линде повесил пальто на вешалку у двери, подошел к столу, выдвинул ящик и достал лист бумаги. Вчерашние слова племянника не вы-

ходили у него из головы.

Он сидел в своём кресле, глядя на карту, и перебирал варианты. Карл предложил безумную вещь, купить Норвегию и Данию у немцев за сорок тонн золота. Безумную, но... не лишённую логики. С конца 1944 года Германия была обречена. Советские войска уже стояли в Восточной Пруссии, а союзники высадились в Нормандии. Немцы уходили из Норвегии, но уходили нехотя, оставляя за собой разрушенные порты и выжженную землю. Киркенес уже был освобожден Красной армией в октябре. Если Швеция не войдёт в Норвегию сейчас, туда войдут другие: англичане, американцы, а на севере уже закрепились русские, и тогда Балтийское море перестанет быть внутренним озером, которым оно было для Швеции триста лет. Линде взял карандаш и начал набрасывать на листе бумаги пункты: военные базы в Нарвике и Тронхейме, контроль над проливами, доступ к норвежской гидроэнергии и датскому сельскому хозяйству. Цифры складывались в его голове в стройную картину.

Но были и другие соображения, о которых племянник, возможно, не думал. Если Швеция возьмёт Норвегию под свой контроль, она сможет заменить немецких офицеров и инспекторов своими. Это означало не оккупацию, это было бы политическое самоубийство, а постепенное, осторожное установление порядка. Линде знал, что в Норвегии до сих пор действуют коллаборационисты Квислинга, которых норвежское общество ненавидит, и движение Сопrotивления,

которое ждёт своего часа. Швеция могла стать тем мостом, который позволит норвежцам вернуться к нормальной жизни без хаоса и кровопролития. Те же самые соображения относились к Дании, где датское правительство само распустило себя в 1943 году, и реальная власть принадлежала немецкому рейхскомиссару. Если Швеция придёт туда с предложением помощи, а не с требованием подчинения, её примут. Может быть, не с распротёртыми объятиями, но примут.

Главное для Швеции это ресурсы. Линде открыл настольную папку, где хранились экономические сводки за последний год. Норвегия: медь, алюминий, молибден, сера, рыба, гидроэнергия. Через Нарвик шведская железная руда уходила в Германию, но после войны этот поток можно будет перенаправить в Швецию. Дания это замечательное сельское хозяйство, скот, масло, бекон, а главное контроль над проливами. Если Швеция получит Датские проливы, Балтика станет её внутренним морем. Ни один корабль не войдёт и не выйдет без разрешения Стокгольма.

Линде сделал пометку: «Министерству экономики запросить подробные данные о норвежских гидроэлектростанциях и датских сельскохозяйственных мощностях. Оценить стоимость восстановления портовой инфраструктуры».

Он знал, что министерство торговли (Handelsdepartementet) будет против, так как слишком много рисков, слишком большие расходы. Но если Швеция не возьмёт эти ресурсы сейчас, их возьмут другие.

Он поднялся из-за стола, подошёл к окну и посмотрел на заснеженную набережную. Время работало против Швеции. Каждый день, пока немцы ещё держались, был днём упущенных возможностей. После войны, когда Европа будет перекраиваться заново, маленькой нейтральной стране придётся принимать правила, установленные победителями. Но если Швеция придёт на освобождённые территории первой, если она предложит Норвегии и Дании не оккупацию, а протекторат, если она сможет убедить союзников, что северный порядок нужен им не меньше, чем ей, то тогда у Стокгольма появится рычаг. Линде вернулся к столу и взял телефонную трубку.

«Соедините меня с немецким посольством. Я хочу говорить с господином Томсенем. Да, сегодня. Чем скорее, тем лучше».

Он знал, что немецкий посол в Стокгольме ещё не получил инструкций из Берлина о возможной капитуляции, но он также знал, что немцы уже ищут пути сохранить хоть что-то. Золото Швеции это то, что им нужно, а Норвегия и Дания, это то, что они всё равно потеряют.

Прежде чем ехать в посольство, Линде написал короткую записку в Министерство торговли (Handelsdepartementet) на имя министра Фритьофа Домё.

«В связи с изменением военно-политической ситуации в Скандинавии, прошу подготовить сводку по следующим позициям:

1) Оценка стоимости восстановления портовой инфраструктуры Норвегии (Осло-фьорд, Берген, Тронхейм, Нарвик) с указанием сроков и необходимых материалов.

2) Перечень норвежских промышленных объектов, представляющих интерес для шведской экономики (гидроэлектростанции, рудники, рыбоперерабатывающие заводы).

3) Оценка сельскохозяйственного потенциала Дании и возможности его использования для покрытия продовольственных нужд Швеции в послевоенный период.

4) Анализ транспортных коридоров через Датские проливы и их значение для шведского экспорта.

Прошу подготовить материалы в трёхдневный срок. Линде». Он сложил лист, запечатал его в конверт с гербом министерства и отдал курьеру. Теперь оставалось только ждать ответа из немецкого посольства, и молиться, чтобы время, которое он собирался купить за золото, не было потеряно.

Утро, Энерот идет на службу

Я выхожу из дома родителей в четверть восьмого, и декабрьский Стокгольм встречает меня морозной тишиной. Термометр за окном показывал минус восемь, когда я спускался по лестнице, и сейчас этот холод кусает щёки, заставляет прятать подбородок в шарф. Небо над городом чистое, высокое, того особенного зимнего оттенка, который шведы называют *vinterblå* — зимняя синева. Снег, выпав-

ший на прошлой неделе, уже утрамбован в плотный наст, и мои ботинки оставляют на нём отчётливые следы. Я иду по Strömngatan к набережной, и каждый шаг отдаётся хрустом, который в утренней тишине кажется неестественно громким. Город просыпается медленно, редкие прохожие кутаются в пальто, из труб поднимается лёгкий дым, и где-то далеко, со стороны Слюссена, доносится гудок паровоза, это первый звук нового дня.

У ворот особняка, где Strömngatan упирается в набережную, уже стоит цветочница. Это Эльза, старушка, которую я помню с детства. Она в ватном жакете поверх нескольких слоёв платьев, на голове платок, завязанный по-крестьянски, лицо красное от мороза. Корзина у неё сегодня небогатая, лишь несколько пучков сухоцветов, вязанка хворосту и жалкие веточки можжевельника, которые она пытается выдать за рождественские украшения.

«God morgon, барон, — говорит она, приседая в книксене. — Купите веточку? Пятнадцать эре. Сегодня последние, завтра привезут новые».

Я достаю монету в двадцать эре, беру можжевельник и машу рукой, когда она пытается дать сдачу.

«Оставьте себе, фру Эльза. С наступающим Рождеством».

Она кланяется, улыбаясь беззубым ртом, и я иду дальше, чувствуя, как иголки пахнут лесом и почему-то детством.

Я сворачиваю в Королевский сад — Kungsträdgården. По утрам здесь всегда пусто, летние кафе заколочены до весны,

фонтаны под чехлами, и только голые липы тянут свои ветви к небу, как чёрные вены. Аллеи посыпаны песком и городские службы стараются, хотя снега в этом году меньше, чем обычно. Погода стоит сухая, и песок не превращается в слякоть, а лежит ровным серым слоем, похрустывая под ногами. У южного входа в парк, на скамейке, которая не используется по назначению уже месяц, сидит чистильщик обуви. Мужчина лет пятидесяти, в засаленной куртке, с ящиком, где стоят баночки с ваксой и щётки. Он встаёт, когда видит меня, но я не останавливаюсь, ботинки после вчерашней чистки ещё выглядят прилично.

"В другой раз", — говорю я, и он кивает, не обижаясь. Чистка обуви здесь стоит тридцать эре, и он, наверное, уже знает, что бароны из этого дома редко пользуются его услугами. Его клиенты конторские служащие, младшие лейтенанты, приезжие, но он всё равно здороваётся каждый день.

На углу Биргер Ярлсгатан, уже в двух шагах от штаба, я встречаю полицейского. Тот самый, что всегда дежурит на этом маршруте — высокий, худой, с лицом, которое трудно запомнить. Сегодня он в длинном сером пальто и фуражке с кокардой, и его дыхание облачками пара тает в морозном воздухе. Он козыряет мне, я киваю в ответ.

«Холодно, барон, — говорит он, и я слышу в его голосе не жалобу, а констатацию факта. — Зато сухо. Дороги хорошие».

Я соглашаюсь. В Стокгольме 1944-го дороги чистят ис-

правно, военное положение требует, чтобы патрули и военные грузовики могли проехать в любую погоду. Полицейский провожает меня взглядом, и я чувствую, как он поворачивается, проверяя, всё ли в порядке на его участке. В городе, который не знает войны, полиция больше следит за порядком, чем за преступностью, и это порядок меня устраивает.

Я подхожу к серому гранитному зданию на Биргер Ярлсгтан, 26. У входа, как всегда, стоит унтер-офицер в шинели и с винтовкой за спиной. Он козыряет, я показываю пропуск, и он кивает, пропуская меня внутрь. В вестибюле тепло, пахнет сухими чернилами, мастикой и чем-то ещё, кофе, наверное, из канцелярии на первом этаже. Я снимаю пальто, вешаю его на вешалку, иду к лестнице. Метлахская плитка под ногами гудит от шагов, и этот звук, ровный и привычный, вводит меня в ритм дня. Сегодня будет много работы. Сводки из Норвегии, докладные о передвижениях советских войск в Прибалтике, может быть, новое задание от майора Линда. Но сначала я пью кофе. В буфете на втором этаже его варят из желудей, и чашка стоит 20 эре. Настоящий кофе, говорят, можно найти только у немцев в посольстве, но я не жалуясь. Желудёвый кофе это тоже Швеция, которая выстояла и которая, я надеюсь, станет сильнее.

На службе

Я вхожу в штаб ровно в восемь, когда майор Линд ещё не пришёл, и в кабинете пахнет воском и старыми бумагами. Форма моя — китель защитного цвета, шведского образца, с нашивками прапорщика на рукавах, брюки-галифе, начищенные до зеркального блеска ботинки, ремень с пряжкой, на которой выбиты три короны. В нагрудном кармане лежат: карандаш, маленький блокнот, пропуск. На вешалке у двери висит фуражка с кокардой, которую я надеваю, только когда выхожу из здания. В кабинете я снимаю китель и остаюсь в рубашке защитного цвета с закатанными рукавами, так здесь принято, когда нет начальства. На столе передо мной аккуратной стопкой лежат входящие бумаги, которые я должен разобрать до прихода майора. Сегодня их больше обычного: сводки с фронтов, донесения разведки, запросы из министерства иностранных дел.

Я беру первую папку, перевязанную бечёвкой, с грифом «Nemlig» — секретно. Внутри лежат телеграммы из Лондона, переданные через военного атташе. Союзники завершают Арденнскую операцию. После того как 16 декабря немцы начали наступление, американцы 18 декабря перебросили к Бастони 101-ю воздушно-десантную дивизию, и теперь немецкие танки завязли в обороне, неся тяжёлые потери от союзной авиации. Я читаю строчки, напечатанные на тон-

кой, почти прозрачной бумаге, и чувствую, как под пальцами шуршит канцелярская пыль. Немцы бросили в Арденны последние резервы, и это наступление уже выдыхается. Я делаю пометку в блокноте:

«Западный фронт - стабилизация. Немцы исчерпали наступательный потенциал». Потом перехожу к следующей сводке.

Сводка с Восточного фронта приходит из Хельсинки, от нашего военного атташе, который поддерживает связь с финским командованием. Советские войска завершают осаду Будапешта, 26 декабря город будет полностью окружён, и 150 тысяч немецких и венгерских солдат окажутся в котле. На Висле 1-й Белорусский фронт сосредоточивает силы: по данным разведки, более двух миллионов человек, тысячи танков, артиллерию. Наступление ожидается в середине января. Я провожу пальцем по карте, которая лежит у меня на столе, от Варшавы до Одера всего 500 километров, и если русские прорвут оборону, они могут выйти к Берлину за месяц. Я записываю цифры: 2 миллиона солдат, 6 тысяч танков, 9 тысяч орудий. Сравниваю с немецкими силами на этом участке, которые в три раза меньше. Война на востоке приближается к концу, и это конец будет кровавым.

Следующая папка донесения из Норвегии. Немцы снимают войска с позиций в Финнмарке, на самом севере, и отходят к Киркенесу, который русские освободили в октябре. В Нарвике, по данным наших агентов, началась эвакуация

немецких складов, но идёт она медленно, с бюрократическими проволочками. Я делаю пометку:

«Норвегия — немецкое присутствие сокращается. Портовая инфраструктура в Нарвике, Бергене, Тронхейме требует оценки для возможного восстановления».

Эта пометка пойдёт в докладную записку для отца, а может быть, и для графа Линде. Я знаю, что в министерстве уже думают о том, что будет с Норвегией после войны, и я думаю об этом тоже.

К десяти часам в кабинет входит майор Линд. Он в кителе, при орденах, среди них финский Крест свободы, полученный за Зимнюю войну, и с папкой под мышкой. Его левая рука плохо сгибается, и он кладёт папку на стол правой, морщась от утренней боли.

«Энерот, что у нас сегодня?»

Я протягиваю ему подготовленные сводки, кратко пересказываю главное: Арденны, Будапешт, Висла, Норвегия. Линд слушает, не перебивая, потом кивает.

«В Норвегию пойдёт отдельная записка. Для Военного совета. Подготовьте к обеду».

Он садится за свой стол, открывает папку и погружается в чтение, а я возвращаюсь к своим бумагам.

Ровно в двенадцать мы спускаемся в столовую для младших офицеров. Комната на первом этаже, с низким потолком и длинными столами, накрытыми белыми скатертями с пятнами от чернил, которые не отстирываются. В углу нахо-

даться стойка с подносами, где раздают еду. Сегодня на обед: гороховый суп-пюре (40 эре), отварной картофель с селёдкой (50 эре) и компот из сухофруктов (20 эре). Линд берёт поднос, садится напротив меня, и мы едим в тишине, которую нарушает только звон вилок и приглушённый говор соседей. Форма у Линда такая же, как у меня, только на погонах, две звезды майора, а на левом рукаве нашивка за ранение, полученное в Финляндии. Он ест медленно, с той основательностью, какая бывает у людей, знающих цену еде. Я смотрю на него и думаю о том, что через месяц, когда русские пойдут на Берлин, всё это суп, картошка, тишина столовой покажется нам далёким сном.

После обеда Линд уходит в курилку, а я возвращаюсь в кабинет, чтобы закончить записку по Норвегии. Сажусь за свой стол, беру перьевую ручку, макаю в чернильницу, стоящую в медном подстаканнике. Бумага плотная, с водяными знаками «Försvarsstaben» штаб обороны. Я пишу ровным, уставным почерком, выводя каждую букву:

«Господину генерал-лейтенанту Энероту. По данным военной разведки, немецкое присутствие в Норвегии сокращается. Портовая инфраструктура в Нарвике, Бергене, Тронхейме и Осло-фьорде требует инспекции для оценки возможности её использования шведскими вооружёнными силами в случае изменения статуса норвежской территории. Прошу разрешить подготовку оперативного плана по развёртыванию шведских частей в указанных портах в течение

72 часов после получения соответствующего распоряжения правительства».

Я ставлю подпись, дату, складываю лист в конверт и откладываю для отправки. За окном уже темнеет, и в кабинете зажигают лампы под зелёными абажурами, которые отбрасывают жёлтый свет на стопки бумаг, карты и портрет короля на стене.

— Прапорщик Энерот, зайдите ко мне.

Голос майора Линда прозвучал из его кабинета, когда я уже собирал разобранные за день сводки в аккуратную стопку. Я поднялся из-за своего стола, поправил воротник рубашки и, коротко постучав в притворённую дверь, вошёл. Линд сидел за своим письменным столом, заваленным картами и папками с грифом «Hemlig». Настольная лампа с зелёным абажуром отбрасывала жёлтый свет на его лицо, делая глубокие морщины у глаз ещё заметнее. Левая рука, плохо сгибающаяся после финского ранения, лежала на столе поверх развёрнутой карты Стокгольмского гарнизона. Он не поднял головы, когда я вошёл, продолжая водить карандашом по линиям укреплений.

— Закройте дверь, — сказал он, и я подчинился.

Линд отложил карандаш и наконец посмотрел на меня. В его взгляде не было ничего, кроме привычной сухой деловитости, но я заметил, как он окинул меня с ног до головы, проверял форму, выправку, готовность к неожиданному приказу. Я стоял навытяжку, чувствуя, как под кителем на-

пряглись плечи.

«Завтра в семь утра, — сказал он, откидываясь на спинку кресла, — вы отправитесь в расположение 4-й пехотной дивизии. Генерал Карл Август Эренсверд проводит командно-штабные учения на полигоне. Вы будете присутствовать как наблюдатель от штаба Военного совета».

Он выдвинул ящик стола, достал сложенный вчетверо лист бумаги и протянул мне.

«Это предписание. В нём сказано всё, что нужно знать генералу и его адъютанту. Ваша задача фиксировать всё, что сочтёте важным, и представить мне письменный доклад».

Я взял предписание, пробежал глазами: герб штаба, подпись майора, сухая формулировка «для ознакомления с тактическими методами ведения оборонительных действий в условиях лесной и пересечённой местности».

Линд добавил, когда я прятал бумагу в нагрудный карман: «Генерал Эренсверд просил прислать молодого офицера со свежим взглядом. Вы подходите. Я доложил ему, что вы интересуетесь вопросами тактики и имеете аналитические способности. Не опозорьте штаб».

В его голосе не было угрозы, скорее напоминание о том, что моя репутация, только начинающая складываться, теперь зависит от того, как я проявлю себя завтра.

— Казармы дивизии расположены в Юрсхольме, — продолжал Линд, разворачивая карту так, чтобы мне было видно. — Оттуда вы проследуете на полигон в районе Ерфьеллы.

Дорога займёт около часа, если не будет снегопада. Я распорядился, чтобы вам выписали бензин на полный бак, лимит на спецпоездки. Учения начнутся в девять, вы должны быть на месте раньше, чтобы успеть представиться генералу. Его адъютант встретит вас у ворот. Вопросы есть?»

Я покачал голову. Вопросов не было. Только внутри, где-то под рёбрами, шевельнулось то самое чувство, которое я научился распознавать в этой новой жизни: не страх, а предвкушение. Проверка.

Линд кивнул, давая понять, что разговор окончен. Я повернулся, чтобы выйти, но его голос остановил меня у порога:

— Энерот.

Я обернулся. Майор снова взял в руки карандаш, но не опустил его на карту.

«Генерал Эренсверд старый солдат. Он не терпит пустых фраз и не любит, когда ему рассказывают сказки. Если вы увидите что-то, что идёт не так, запишите, потом подумайте и только потом говорите, в докладе, не раньше».

Он помолчал секунду, и я понял, что это не инструкция, это совет. Самый ценный, какой он мог мне дать.

«Будет исполнено, господин майор», — ответил я и вышел, притворив за собой дверь.

Я вышел из штаба в шестом часу, когда зимний Стокгольм уже давно погрузился в сумерки. Фонари на Биргер Ярлсгтан горели ровным жёлтым светом, отражаясь в начищенном

снегу, который успели утрамбовать дворники. Мороз стоял градусов семь, и редкие прохожие шли быстро, кутаясь в воротники пальто. Я решил пройтись пешком, после долгого дня в душном кабинете хотелось глотнуть воздуха. На углу Биргер Ярлсгатан и Кунгсгатан я остановился у табачной лавки. Витрина её была тускло освещена, и я увидел на прилавке жестяные коробки с сигарами «John Silver». Лавочник, узнав меня, кивнул и предложил две гаванские сигары, последние из довоенного запаса, по 2 кроны 25 эре каждая. Я взял одну для себя и одну для отца.

На Стуребрун, где мост перекинут через Норрстрём, я пересёк набережную и вышел к Королевскому саду. Здесь было совсем пусто, летние кафе заколочены, фонтаны под чехлами, и только голые липы тянули свои ветви к чёрному небу, похожие на сплетение вен. Я шёл по аллее, посыпанной песком, и думал о сегодняшнем разговоре с Линдом. Завтрашняя поездка в Юрскольм, это не просто учения, это проверка. Генерал Эренсверд, старый солдат, который командовал шведскими добровольцами в Финляндии, не станет церемониться с молодым прапорщиком из штаба. Я должен был быть готовым смотреть, слушать и запоминать.

Перед выходом из парка я встретил чистильщика обуви, который уже собирал свой ящик. Он окликнул меня: «Барон, позвольте почистить? Тридцать эре, и ботинки будут как зеркало».

Я посмотрел на свои ботинки, они ещё держали утрен-

нюю чистку, но я всё равно кивнул. Мужчина ловко прошёлся щётками, нанёс ваксу, растёр её тряпкой, и через минуту кожа блестела в свете фонаря. Я дал ему крону и не взял сдачи. Он поблагодарил, улыбнувшись беззубым ртом, и я пошёл дальше, к Стрёмгатан, где в окнах особняка уже горел тёплый свет.

Дома я застал отца в гостиной у камина. Он сидел в кресле с газетой «Svenska Dagbladet» и курил сигару. Мать вошла в столовой, где уже накрывали на ужин. Я снял пальто, повесил его в прихожей, достал из кармана вторую сигару и протянул отцу.

«В лавке на углу взял. Довоенные, говорят».

Генерал взял сигару, повертел в пальцах, понюхал. «Хороший табак. Спасибо, Карл». Он отложил газету и посмотрел на меня.

«Линд говорил, что завтра посылает тебя к Эренсверду, это хорошо. Эренсверд настоящий офицер, учись у него».

За ужином мы сидели в малой столовой, где портреты предков смотрели с дубовых панелей. Мать накрыла на три прибора: белая скатерть, тяжелое серебро, свечи в подсвечниках. На столе были: заливная рыба (1 крона 50 эре за порцию), отварной картофель с укропом, жаркое из свинины с яблоками (4 кроны), и на десерт подали яблочный пирог с ванильным соусом, который мать берегла к выходным. Еда была простой по военным меркам, но дом держался своих традиций. Отец нарезал мясо, мать разливала молоко, и я

смотрел на них, чувствуя, как этот вечерний ритуал возвращает меня к чему-то давно забытому, к тому, что в моей прошлой жизни у меня не было.

Разговор за столом шёл о завтрашних учениях, о том, как Линд ворчал на новую форму, которую выдали вместо старой, о том, что в городе слышали дальние раскаты, то ли грозу, то ли взрывы на военном складе в Сёдертелье.

Отец рассказывал, что в министерстве ходят слухи о том, что немцы могут уйти из Норвегии раньше, чем ожидалось, и что правительство готовит планы на случай, если норвежцы попросят помощи.

«Попросят ли?» — спросила мать, и отец пожал плечами.

«Не знаю. Но мы должны быть готовы».

Я слушал и молчал. Мои собственные мысли о Норвегии, о золоте, о том, что я сказал дяде Линде на дне рождения, оставались при мне, пока не время.

После ужина мы перешли в гостиную, где мать подала кофе, настоящий, бразильский, который ей удалось достать через знакомых в порту.

Чашка стоила 2 кроны 50 эре, но она считала, что вечер стоит того. Я заварил себе, добавил молока, сел в кресло у камина. Отец раскурил подаренную сигару, и дым потянулся к потолку, смешиваясь с ароматом горящих дров. Мать достала вязание, она всегда что-то вязала, когда мы собирались вместе, и мы сидели молча, каждый со своими мыслями. Я смотрел на огонь и думал о завтрашнем дне. О том, что

увидю генерала Эренсверда, который воевал в Финляндии, когда настоящий Карл был ещё мальчишкой. О том, что мне предстоит смотреть на учения, запоминать, анализировать, а потом писать доклад, который ляжет на стол майора Линда, и может быть, от этого доклада будет зависеть что-то большее, чем просто оценка моей работы.

Когда часы на камине пробили десять, мать сложила вязание и пожелала нам спокойной ночи. Отец загасил сигару, поднялся из кресла и, проходя мимо, остановился.

«Карл, — сказал он, — ты хорошо держишься. Линд доволен. Эренсверд будет тебя проверять. Не подведи».

Я поднял голову. «Не подведу, отец». Он кивнул, положил руку мне на плечо на секунду и вышел. Я остался у камина, глядя, как догорают последние угли. Завтра утром я сяду в машину и поеду в Юрскольм, а сегодня я просто был дома, среди своих и этого было достаточно.

На учения

Утро. Дорога в Юрсхольм. 19 декабря, вторник

Будильник прозвенел в шесть, когда за окном было ещё темно. Я скатился с кровати, чувствуя, как холодный воздух из нетопленной спальни обжигает лицо. Надел форму, в столовой внизу мать уже поставила на стол овсяную кашу с брусничным вареньем (35 эре), стакан молока и чашку эрзац-кофе (20 эре). Я проглотил всё за десять минут, накинул шинель и вышел на улицу. Мой Volvo PV51 стоял у ворот особняка на Strömngatan 14, покрытый тонким слоем инея. Двигатель завёлся с пол-оборота, и я вырулил на набережную, направляясь к северу. До Юрсхольма, где располагался штаб 4-й пехотной дивизии, было около 12 километров — сначала по набережной до моста, потом через Эстермальм и дальше, мимо заснеженных полей, где редкие фонари разгоняли зимнюю мглу.

**Штаб генерала Эренсверда.
Юрсхольм, 8:15 утра.**

Штаб 4-й дивизии располагался в старом особняке на

окраине Юрскольма — двухэтажном здании из красного кирпича, построенном ещё в конце прошлого века для какого-то промышленника. У ворот меня встретил дежурный капитан, проверил предписание и указал, где припарковаться. Внутри пахло воском и табаком, на стенах висели карты Стокгольмского гарнизона и портрет короля Густава V. Генерал Карл Август Эренсверд ждал меня в своём кабинете — камерке с низким потолком, заваленной бумагами и полевыми телефонами. Ему было пятьдесят два, но выглядел он старше: седой, сухой, с острым взглядом человека, который в 1939-м командовал шведскими добровольцами в Финляндии и вынес оттуда не только орден, но и привычку не тратить слов.

Я вытянулся во фронт, вручил предписание. Эренсверд прочитал, отложил в сторону и сказал: «Прапорщик Энерот. Майор Линд пишет, что вы интересуетесь тактикой. Хорошо. Сегодня посмотрите, как мы работаем. Только никаких сказок. Если увидите, что идёт не так, то запишите. Потом скажете».

Он надел фуражку, накинул шинель, и мы вышли на улицу. Мороз щипал лицо, снег под ногами скрипел, и где-то вдалеке уже слышался гул грузовиков — дивизия готовилась к выходу на полигон.

Генерал, не оборачиваясь, бросил: «У нас три бригады, инженерная бригада придана. Всего 9900 человек. Мало, но для обороны Стокгольма хватит. Если будем воевать умно».

Я кивнул, хотя он не смотрел. «В прошлый раз, в Финляндии, я воевал умно. Меня это не спасло от пули, но спасло дивизию. Запомните, прапорщик: войну выигрывает не тот, у кого больше пушек, а тот, кто умеет их ставить в нужном месте». Мы сели в его штабную машину — открытый Volvo PV с брезентовым верхом и колонна грузовиков потянулась на запад, к полигону в Ерфьелле. Расстояние от Юрсхольма до Ерфьеллы составляло 22 километра, и дорога заняла около часа.

На полигоне, в заснеженном поле между соснами, развернулись артиллеристы. Я насчитал 117 полевых орудий, сведённых в шесть дивизионов. Это были 75-мм пушки m/02 — старые, ещё с прошлого века, но, как объяснил мне командир дивизиона, капитан Халльберг, вполне надёжные. Каждое орудие весило около тонны, стреляло 6,5-килограммовыми снарядами на расстояние до 9 километров. Тягачами служили старые *Volvo TPB* — неуклюжие, с деревянными кабинами, но для шведских лесных дорог они годились. Я смотрел, как расчёты, одетые в белые маскировочные халаты, выкатывают пушки на позиции, и думал о том, что через полгода, когда немцы уйдут из Норвегии, эти старые орудия могут оказаться там, где никто не ждёт шведскую артиллерию.

Халльберг, заметив мой интерес, подвёл меня к батарее, которая готовилась к стрельбе. «Снарядов у нас мало, — сказал он, не скрывая горечи. — Для учений дают по пять на

ствол. В бою — хорошо, если будет тридцать. Но мы экономим. Война, сами знаете, не кончилась». Я спросил: «А что с тягачами? На все дивизионы хватает?» Он усмехнулся. «Хватает, но если русские пойдут на Стокгольм зимой, дороги заметёт — наши грузовики не пройдут. Тогда придётся бросать пушки. Или тянуть лошадьми». Я запомнил это. Логистика. В моей прошлой жизни я был промышленником, и я знал: без тягачей артиллерия — это просто груда металла, которую враг возьмёт на втором часу наступления.

В глубине леса, укрытые маскировочными сетями, стояли одиннадцать орудий тяжёлой артиллерии. Семь из них были 105-мм гаубицами m/40 — новые, с длинными стволами и щитами, защищавшими расчёты от осколков. Остальные четыре — 150-мм гаубицами m/14, старыми, но всё ещё грозными. Каждая весила почти три тонны, и тягали их мощные *Scania-Vabis L10* — первые дизельные грузовики, которые только начали поступать в армию. Я подошёл к одному из них, провёл рукой по борту. 5,6-литровый двигатель, 90 лошадиных сил, полная масса до 8,5 тонны. Для 1944 года — солидно. Капитан Линдгрэн, командир тяжёлого дивизиона, погладил крыло своего грузовика с гордостью отца: «Эти пройдут везде. Немцы такие же делают, но наши лучше. Только вот...» — он понизил голос, — «горючего на них дают в обрез. Если придётся стрелять, грузовики бросят, пушки на конной тяге повезут. А лошади, барон, не везде пройдут».

Я посмотрел на карту, разложенную на капоте. Отсюда до Стокгольма — 20 километров по прямой. Если враг прорвётся через шхеры, эти одиннадцать орудий — последний рубеж перед столицей. Но чтобы они выстрелили, нужно, чтобы их успели вывезти на позиции. А лошади, которых в дивизии было 3126, тянут пушки со скоростью пешего хода. Я спросил: «А если противник пойдёт в обход? С востока, через Ваксхольм?» Линдгрэн пожал плечами. «Тогда мы не успеем. И никто не успеет». Я записал это в блокнот. Потом, когда буду писать доклад, я отмечу: тяжёлая артиллерия хороша, но мобильность — проблема. Войну выигрывает тот, кто успевает первым.

На опушке леса, где дорога выходила к замёрзшему озеру, стояли восемь зенитных орудий. Это были знаменитые 40-мм пушки Vofors L/60 — те самые, которые Швеция продавала всем воюющим сторонам и которые считались лучшими в своём классе. Каждое весило 2100 кг, стреляло 120 снарядами в минуту на высоту до 2500 метров. Расчёты в белых маскировочных халатах крутили штурвалы наводки, и стволы синхронно двигались за облаками. Я стоял рядом и смотрел на эту чёткую, отлаженную работу. Восемь стволов. На всю дивизию — восемь стволов. Если русские пошлют на Стокгольм сотню бомбардировщиков, а у них на Балтике были сотни, — эти восемь пушек собьют от силы десятков. Остальные пройдут.

Сержант, командовавший батареей, молодой парень с об-

ветренным лицом, заметил мой взгляд и сказал: «Мало нас, барон. Но мы бьём точно. В прошлом году на учениях сбили три мишени из восьми. Это хороший результат». Я не стал спорить. Три из восьми — это хорошо для полигона. В бою, когда сверху валит армада, а ты стоишь один в поле, три из восьми — это приговор. Я записал в блокнот: «ПВО дивизии — критически недостаточно. Требуется усиление как минимум до 24 стволов на дивизию». Потом, когда буду передавать доклад Линду, я скажу об этом прямо. Возможно, меня назовут паникёром. Но я видел, что будет через сорок лет, когда советская авиация будет господствовать в Балтике, а шведские зенитки будут стоять теми же восемью стволами на дивизию. Этого не должно повториться.

В овраге, где дорога делала крутой поворот, я нашёл противотанковый дивизион. Сорок пять орудий — 37-мм пушки m/38 Vofors. Их прозвали «колотушками» за характерный звук выстрела. В 1940-м, когда они были новыми, это было грозное оружие. В 1944-м, когда немцы уже обзавелись «Тиграми» с броней в 100 мм, а русские выкатили ИС-2, который нашу 37-мм пушку не замечал, эти орудия устарели. Капитан Эрландер, командир дивизиона, объяснял мне это без обиняков: «Против Т-34 ещё можем. Если подпустить метров на триста и бить в борт. А против тяжёлых — только из засады, с близкой дистанции. И то не факт».

Утро выдалось ясным и морозным, градусов восемь, не больше. Солнце, поднявшееся над соснами, светило в спину,

отбрасывая длинные синие тени от каждой сосны, от каждого солдата, от каждого орудийного ствола. Снег скрипел под ногами с тем особенным, хрустальным звуком, который бывает только в сухой мороз. Дивизия с утра занимала оборону. Инженерная бригада, вооружённая экскаваторами и бульдозерами Scania-Vabis, рыла окопы полного профиля — траншеи уходили в мёрзлую землю, и стальные ковши выскребали её с тяжелым, насадным рёвом. Солдаты в белых маскировочных халатах, накинутых поверх серо-зелёных мундиров m/1939, только помогали лопатами — рыть мёрзлый грунт вручную было делом непосильным. Каждую инженерную роту прикрывали два дивизиона полевой артиллерии — по 18 орудий в каждом. 37-мм противотанковые пушки, которые я видел ещё вчера, стояли на запасных позициях, замаскированные ветками.

Позади, на закрытых огневых позициях, тяжелая артиллерия вела огонь по условному наступающему врагу. Гул канонады раскатывался над лесом, и после каждого выстрела в морозном воздухе повисало облако дыма, которое ветер медленно разрывал в клочья. Я стоял на наблюдательном пункте рядом с командиром артполка, подполковником Эрландером, и смотрел, как рвутся снаряды на заснеженном поле в трёх километрах впереди. Чёрные столбы взрывов вздымались вверх, и через несколько секунд до нас доходил тяжёлый, раскатистый звук, который чувствовался не ушами, а грудью. «Хорошо кладут», — сказал Эрландер, опуская би-

нокль. Я кивнул. На дивизию в 9900 человек приходилось 72 ствола полевой артиллерии и 45 противотанковых пушек — неплохо по меркам 1944 года.

После обеда всё переменялось. Инженеры, получив приказ, проделали проходы в минных заграждениях, которые сами же поставили утром. Теперь бригады пошли вперёд, развернувшись в боевые порядки. В каждой бригаде было по три батальона. Пехотинцы двигались цепями, перебежками, падая в снег и снова поднимаясь. В их рядах я заметил снайперов, они держались чуть позади, в белых маскхалатах, с оптическими прицелами на винтовках m/96. Пулемётчики с Kulspruta m/41 на низких треногах перекачивали свои позиции следом за наступающими. Полевая артиллерия, снявшись с позиций, катила свои стволы в боевых порядках батальонов — расчёты, взмокшие даже на морозе, толкали орудия, цепляли их к грузовикам Scania-Vabis, и всё это месиво из людей, техники и лошадей двигалось вперёд.

И тут случилось то, чего не ждали. Где-то впереди, на фланге наступающей бригады, глухо ударил взрыв. Я поднял бинокль и увидел чёрный дым, взметнувшийся над белым полем. Потом ещё один. Мины. Свои же мины, которые, видимо, не все успели снять. Я слышал, как по цепочке передают команду: «Стоп! Сапёров вперёд!»

Но было поздно. На поле уже лежали люди. Один офицер, как мне сказали потом, лейтенант из второй бригады, и с ним четверо пехотинцев. Их несли к дороге на плащ-палатках.

Потом подъехал автобус — обычный гражданский автобус, который в армии использовали для перевозки личного состава. Он был выкрашен в защитный цвет, но я узнал старую модель Volvo B10, такие до войны ходили по маршрутам в Стокгольме. Раненых погрузили, и автобус, разворачиваясь на узкой лесной дороге, ушёл в сторону Енчёпинга, где был ближайший военный госпиталь.

К вечеру, когда занятия закончились и дивизия оттягивалась на исходные, я стоял у полевой кухни, где солдаты грели руки над котлами с горячей похлёбкой. Кто-то достал гармонь, и под её нехитрый перебор затагнули старую солдатскую песню. Дым от кухни смешивался с паром от варева и морозным воздухом, и кто-то из сержантов, хлопнув себя по ватным штанам, сказал: «Ничего, ребята. При Карле Двенадцатом под Полтавой было хуже. Там у шведов не было ни кухни, ни автобуса». Солдаты засмеялись, и я вспомнил, что читал когда-то: в 1709-м под Полтавой шведская армия действительно голодала, а под стенами крепости полегло больше шести тысяч солдат. Тогда, двести тридцать пять лет назад, шведы были великой державой. Теперь они учились воевать, чтобы защитить свою маленькую страну. И учились, как я видел, неплохо.

Лошади, которых в дивизии было около трёх тысяч голов, паслись в тылу на заснеженном поле, сбившись в плотные табуны, грея друг друга спинами. Но большая часть была в упряжке: они везли орудия, которые не успели пересадить на

грузовики, везли ящики со снарядами, полевые кухни, имущество связистов. Я подошёл к одной такой упряжке — два коренника, покрытые испариной после дневной работы, тяжело дышали, опустив морды к снегу. Возница, пожилой фурир, сидел на передке и курил самокрутку.

«Хорошие лошади?» — спросил я.

Он посмотрел на меня усталыми глазами.

«Лучше бы грузовиков дали, барон. А эти... они тоже живые. Их жалко».

Я смотрел на лошадей, на пар, поднимающийся от их разгорячённых спин, и думал о том, что шведская армия — это армия переходного времени. Половина на колёсах, половина на конной тяге. Как сама Швеция — между прошлым, где она была империей, и будущим, где она должна выжить.

Стрём, заметив мой интерес, подошёл и сказал: «Барон, вы из штаба. Скажите, когда дадут новые грузовики? Мы уже год ждём». Я не знал, что ответить. В моей прошлой жизни я был промышленником, и я знал: *Scania* работала на пределе, выполняя военные заказы. Новые грузовики будут, но не завтра. И не послезавтра. А война, которая идёт в Европе, кончится раньше, чем шведская армия получит всё, что ей нужно. Я записал в блокнот: «Моторизация дивизии недостаточна. 683 грузовика на 9900 человек — это 14 человек на машину. При движении на дальние расстояния скорость будет определяться лошадьми, а не моторами». Потом я добавил: «Необходимо увеличить количество грузовиков хотя

бы до 1200, чтобы полностью отказаться от конной тяги». Я знал, что это нереально. Но я должен был написать.

К трём часам, когда солнце уже начало клониться к закату, Эренсверд собрал командиров на командном пункте. На карте, разложенной на раскладном столе, были отмечены позиции дивизии: пехота — в окопах на опушке леса, артиллерия — на закрытых позициях за холмом, противотанковые пушки — на флангах, зенитки — на высотах, прикрывающих дороги. Связь между ними держалась на полевых телефонах — катушки с кабелем, которые мотали связисты, продираясь сквозь сугробы. Рации были только у штаба дивизии и у командиров бригад. Всё остальное — голосом, посыльными, телефоном.

Я стоял в стороне, слушал, как Эренсверд отработывает сценарий: «Противник прорвал передовую линию обороны, движется к Стокгольму. Наши резервы — на левом фланге. Вопрос: успеем ли мы перебросить тяжёлую артиллерию на угрожаемое направление?» Командир артиллерии ответил: «Если дороги чистые — да. Если снегопад — нет. Наши тягачи не пройдут по целине». Эренсверд повернулся ко мне: «Прапорщик, вы что скажете?» Я замялся на секунду, потом выпалил: «Господин генерал, у вас есть 3126 лошадей. Если грузовики не пройдут, поставьте пушки на сани. Лошади пройдут везде, где пройдёт пехота». В комнате стало тихо. Эренсверд смотрел на меня долгую минуту, потом усмехнулся. «Не дурак. Запишите». Я записал.

Когда учения кончились и командиры разошлись, Эренсверд подозвал меня к карте. «Что ещё, прапорщик? Вы что-то не договорили». Я посмотрел на карту, на лес, на заснеженные поля, и сказал то, что думал весь день: «Господин генерал, ваши люди готовятся к войне, которая была десять лет назад. Окопы, лошади, 37-мм пушки. А немцы и русские уже воюют мотором и манёвром. Если враг пойдёт на Стокгольм, он пойдёт не через лес, где вы его ждёте. Он пойдёт по льду, на грузовиках, с авиацией. И он будет быстрее, чем вы успеете перебросить резервы». Эренсверд помолчал, потом сказал: «Что вы предлагаете?»

Я предложил то, что знал из будущего: «Бросьте окопы. Сделайте дивизию мобильной. Лыжные батальоны, противотанковые пушки на санях, зенитки — на грузовиках. Учитесь воевать в лесу, где танк — это мишень, а не угроза. И главное — связь. Без связи вы слепы. Нужны рации на каждый батальон, а не на каждую бригаду. Это дорого, но это дешевле, чем потерять дивизию». Эренсверд смотрел на меня, и в его глазах я видел не насмешку, а что-то другое. Уважение, может быть. Или любопытство. «Вы, прапорщик, говорите как человек, который уже проиграл эту войну. Откуда у вас такие мысли?» Я пожал плечами. «Я читаю, господин генерал. Немецкие отчёты, советские сводки. Война учит тех, кто хочет учиться». Он кивнул, не ответил, и я понял, что проверка пройдена.

Уже в темноте я сел в свой Volvo и поехал обратно. До-

рога от Еर्फьеллы до Стокгольма — 22 километра, которые в темноте, по обледенелому шоссе, растянулись в бесконечность. Фары выхватывали из темноты то сосну, то столб, то фигуру лося, застывшего на обочине. Я ехал медленно, чувствуя, как усталость наваливается на плечи. Весь день на ногах, весь день на морозе, весь день — цифры, карты, лица солдат, их голоса, их лошади, их старые пушки. Я думал о том, что написал в блокноте: 117 полевых орудий, 11 тяжёлых, 8 зениток, 45 противотанковых, 683 грузовика, 3126 лошадей. Цифры, за которыми стояли люди. Люди, которые готовились к войне, которой, может быть, не будет. Но если она придёт, они должны быть готовы. А они не готовы. Я это видел. И я должен был сказать об этом.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.